

A521

КФ

Б 1128097



# АЛТАЙ

4. 1981

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru

760870

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

A521

КФ

# АЛТАИ

1981

4

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ  
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

*Этот номер посвящается 225-летию добровольного  
вхождения алтайского народа в состав России*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

Кюгей ТЕЛЕСОВ. Тордок и Торломой. Рассказ . . . . .	7
Александр ЯШИН. Стечение обстоятельств. Повесть . . . . .	11
Виктор САПОВ. Ситный хлеб. Скифский нож. Рассказы . . . . .	40

### ПОЭЗИЯ

Аржан АДАРОВ. «Я их скажу, высокие слова...». Думы у могилы Абая. Фантазия. Стихи . . . . .	3
Бронтой БЕДЮРОВ. Алтайцы. Потомки. Молодые народы. «Мне услышать недавно, друзья, довелось...» Стихи . . . . .	5
Эзендей ТОЮШЕВ. Осень в горах. Стихи . . . . .	6
Эркемен ПАЛКИН. Письмо Ленину. Красавица. Обыкновенная жизнь. Стихи . . . . .	38
Александр РОДИОНОВ. Портрет реки. Поэма . . . . .	62
Паслей САМЫК. Разговор с поэтом Леонидом Мартыновым. Стихи Константин КОЗЛОВ. Ночная песня. Баллада о девичьем плесе. Стихи . . . . .	66
Таныспай ШИНЖИН. Властители муз. Горное эхо. Стланик. Стихи . . . . .	67
	68

(см. на обороте)

БАРНАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1981

КРИТИКА

Борис УКАЧИН. Тулаан — месяц Возрождения . . . . . 70  
Георгий КОНДАКОВ. Создание зрелой кисти . . . . . 104

ПУБЛИЦИСТИКА, ОЧЕРК

Вячеслав МОРОЗОВ. Горы. Записки альпиниста . . . . . 79  
Л. МАЗУР. Наследники Михаила Ефремова . . . . . 100

САТИРА И ЮМОР

Геннадий ДАВЫДОВ. Веское слово. Беззубые коровы. Рассказы . . . . . 109  
Содержание альманаха «Алтай» за 1981 год . . . . . 112

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, И. И. БЕРЕЗЮК, П. А. БОРОДКИН,  
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,  
В. Н. ПОПОВ, Н. М. ЧЕРКАСОВ, О. Н. ШЕВЧУК

Б 1128094



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1981 № 4

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.  
Корректоры Г. Сдвижкова, Л. Кайгородова.

Рукописи не возвращаются.

ЛГ 08386. Сдано в набор 19. 10. 1981 г. Подписано к печати 9. 11. 1981 г. Формат 70x108/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 9,8. Уч.-изд. л. 12,464. Тираж 7000 экз. Заказ № 1624. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, Новая, 11а. Тел. 2-14-53.

© «Алтай», № 4, 1981.

рр.



Адаров Аржан (Владимир) Оинчинович родился в 1932 году в Горно-Алтайской автономной области. В 1957 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг «Годы и люди», «Подснежник», «Земля, поднятая к солнцу», «Кочевники», «Колдовское дерево» и др. В настоящее время работает директором Горно-Алтайского отделения Алтайского книжного издательства. Член Союза писателей СССР.

Аржан АДАРОВ

\*\*\*

Я их скажу, высокие слова,  
Тебе, народ, принявший нас в семью.  
В глаза гляжу — чиста их синева,  
На землю обращенную мою.

Ты дал и мне могучий свой язык  
И поделился мудростью своей,  
И к языкам обоим я приник,  
Счастливый сын двух добрых матерей.

Ты с пушкинской строкой пришел в аил,  
Ты правдой Ильича нас открылил,  
О русский удивительный народ,  
И вновь полны мы мудрости и сил,  
Согретые лучом твоих забот.

Тепло души и дум высокий строй  
Ты даришь нескудеющей рукой,  
И, как и все сыны страны одной,  
К тебе мы благодарности полны:  
Ты стольким дал свободу и покой  
И мзды не брал — свободе нет цены!

Не сыновья ль и дочери твои,  
Подвижники, в углы глухие шли  
И свет сердец и дружбы нам несли,  
И умирали на краю земли,  
Презревшие богатства и почет,  
О русский удивительный народ!

Бросал Октябрь твоим глаголом клич,  
Писал декрет твоей строкой, Ильич,  
О вечный, удивительный народ.  
Недаром образ матери встает,  
Когда тебя пытаюсь я постичь.

Ты точно мать одной большой семьи,  
Где лад и мир — старания твои.  
Пусть разнолик, разноязык твой дом,  
Но привечаешь всех ты за столом,  
Сама лишь сесть забудешь иногда,  
Но сколько счастья в облике твоём!

Не ищешь ты ни славы, ни даров,  
Но пред тобой я шалку снять готов,  
Скажу лишь: «Мама, мой родимый кров».  
И вновь тебя, Россия, узнаю.  
Всегда мудра, добра и широка,  
Все беды отвела твоя рука,  
Свела в одну великую семью  
Все племена и родину мою.  
Ты сердцем щедр, ты добротой велик,  
Согретый дружбой, верить я привык:  
Не угасает жар твоих забот.  
И верю я — всю землю обоймет  
Любовь моя, о русский мой народ!

### ДУМЫ У МОГИЛЫ АБАЯ

Есть великие люди в народе всегда —  
Полководец, ученый, мудрец и поэт.  
Есть святыни — могилы, дворцы, города  
И народный вожак, славный тысячу лет.  
Имена их, как звезды, горят впереди,  
Имена их — знамена в нелегком пути.  
Это Пушкин у русских,  
У казахов — Абай,  
А какая звезда над тобою, Алтай!  
Есть курганы у нас среди лунных долин,  
Есть могучие горы в сиянье седин,  
Письмена, что забыты за давностью лет.  
Бесконечных кочевий затерянный след.  
Кто под синим курганом в земле

погребен —  
Храбрый воин, поэт или древний пророк!  
Нет земли без поэта, без песни

времен —  
Даже камень поет, красотою пленен...  
Был однажды я гостем казахских степей,  
Был я счастлив и горд в окруженье  
людей,

И казалось, лишь степи сравниться  
могли  
С широтою души моих добрых друзей.  
Было знойное лето, и солнце пекло,

У простого мазара<sup>1</sup> один я стоял.  
Как обычный чабан, похоронен Абай,  
Тот, кто с жадностью, с ложью

        всю жизнь воевал!  
Чтобы ветер не выдул с могилы земли,  
Положили на холмик щербатых камней,  
И шуршат над могилой его ковыли,  
Будто шепчут слова, что он пел

        для людей...  
Я не знаю, нужны ли здесь бронза  
        и медь,

Если травам строкою Абая звенеть,  
Если звезды горят над могилой певца,  
Чтоб нетленное сердце поэта согреть!  
Песнь Абая, ее ль не поют до сих пор!  
Плач Абая, его ли не чтут до сих пор!  
Речь Абая, она ль не урок до сих пор!  
Стих Абая не учат ли впрок до сих пор!  
Как и прежде, здесь ветры степные

        весной  
Гладят холмик поэта горячей рукой,  
И джигиты с строкою его на устах  
Мчатся степью широкой на быстрых  
        конях...

Есть великий у каждого племени сын:  
Токтогул у киргизов,  
У казахов — Абай.  
Знаю, не был ты беден певцами, Алтай,  
Только имя свое не назвал ни один.  
Безразлична ушедшим хвала и хула,  
Сам рассудит народ, кто велик и кто мал,  
Лишь бы боль за людей в твоём сердце  
        жила,

А хорошую песню народ не терял.  
Обойден даром слова ты не был, Алтай.  
Это горы молчат,  
А народ — он поет.  
Точно соколы, песни уходят в полет,  
Я посланец тех песен, великий Абай.  
Настоящая песня отыщет свой путь.  
Я стою у могилы твоей.  
И слова новых песен взрывают мне грудь:  
С каждым вздохом сильней,  
С каждым часом ясней.

Перевод А. Смольникова

## ФАНТАЗИЯ

Травы — выше коня  
Здесь под солнцем встают.  
Стрелы, воздух сверля,  
По-кыпчакски поют.

Окружили, теснят  
Княжий полк степняки!

Много храбрых легло  
У Каялы-реки.

В половецком шатре  
Храбрый Игорь в плену,  
Вспоминает Путивль,  
Ярославну-жену.

«Ты не пленник, ты гость!» —  
Льстива речь Кончака...  
Где ж той битвы следы!  
Где Каяла-река!

Не ответит ученый,  
Не скажет поэт.  
Может, Кальниус это,  
А может, и нет.

Мы в гостях, мы идем,  
О былом говоря,  
По земле Украины,  
По земле Кобзаря.

Травы — выше коня,  
Степь душиста, тепла.  
Где-то здесь, говорят,  
Эта битва была!

И на миг я впадаю  
В полузабытье,  
И несет меня  
Воображение мое.

Словно бешеный конь,  
По степям, по лесам...  
Вот уже не Кончак,  
Хан кыпчакский — я сам!

Рядом с князем гляжу  
Я в походный огонь.  
Я ему говорю:  
«Игорь, вот тебе конь!

Ты садись на коня  
И на этом коне  
Поезжай-ка в Путивль,  
К Ярославне-жене.

Передай ей привет,  
Ну а я ухожу,  
Я свой белый дворец  
На телеги гружу.

Мы увидимся вновь  
Через множество лет,  
Где минувшей вражды  
Позабудется след.

<sup>1</sup> Мазар — могила (казахск.).

И останется людям  
На все времена  
Только песня о нас,  
Только песня одна!»

Так я грезил тогда,  
Сын алтайской земли,  
От которой поклон  
Мы сюда принесли.

И сказал я тогда:  
«Дорогие друзья!  
Как прекрасна земля —  
Наша, ваша, моя.

Где навек мы в семье  
Породнились одной!»  
И мой друг Эркемен  
Согласился со мной.

Перевод И. Фоякова



Бронтой Янгович Бедюров родился в 1947 году в с. Онгудай Горно-Алтайской автономной области. В 1972 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор поэтических книг «Краски гор», «Месiac Возрождения» и др. Занимается переводами с французского, японского, английского. Член Союза писателей СССР. Живет в г. Горно-Алтайске.

## Бронтой БЕДЮРОВ

### АЛТАЙЦЫ

Мы ехали в метро  
Вдвоем. На нас глядели.  
Седых старушек две  
Поближе к нам подсели,  
Как будто невзначай,  
Загадкою влекомы —  
Послушать, как звучит  
Язык наш незнакомый:  
Нерусские слова,  
Нездешние глаголы.  
Корейцы, может быть!  
А может быть, монголы!  
Японцы, может быть!  
А может быть, малайцы!  
Наверное, никто  
Не знал, что мы — алтайцы.  
Нас мало, но и мы  
Стране великой служим.  
А кто не знает нас —  
Узнает! Мы не тужим.

### ПОТОМКИ

Холода наступили. Пронзительно. Сыро.  
Или можно иначе: томительно, сиро.  
Мой товарищ дрожит, как ягненок  
большой:  
Продувает пальтишко ветрище сквозной!

Но, играя со снегом мелькающим  
в жмурки,  
Мы научный опять разговор завели:  
Кто же были они, предки, древние тюрки,  
И откуда пришли!  
И от Ленина до общежитья  
Я с товарищем резво бегу,  
Исторические события  
Перенизывая на бегу.  
Спорим в бурном, решительном стиле,  
Добираясь до темных глубин,  
Вспоминаем, что в мире свершили  
Кюль-тегин и Йоллыг-тегин.  
Ничего, что промозгло и сыро!  
И пускай не заменят нам споры,

догадки, стихи  
Тех дубленок бараньих,  
что прежде носили батыры,  
А теперь — пастухи.  
Тех дубленок, что нынче столичные  
модники носят...

Что ж, любому — свое:  
Тот у жизни дубленку себе поскорее  
попросит,  
Тот — возможность людское постичь  
бытие.

На твою не надеемся милость,  
О лихая зима,  
Сами выстоим, лишь бы всегда  
сохранилась  
Раскаленность души и холодная  
ясность ума!





*Кюгей Чырбынчинович Телесов родился в 1937 году в селе Каспа Горно-Алтайской автономной области. В 1970 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг «Белые лебеди», «Голос кукушки», «Следы на камнях» и других. Живет в г. Горно-Алтайске. Член Союза писателей СССР.*



Кюгей ТЕЛОСОВ

## ТОРДОК И ТОРЛОМОЙ

РАССКАЗ

Какие славные парни работают у нас нынче на пилораме! Как ловко они пилят тес! Посмотреть хотя бы на этих двоих — одно удовольствие. Видно, новый дом затеяли строить.

Работают как ни в чем не бывало, будто и не знают, что в конторе в это время деньги выдают. Да и в магазин завезли кое-что.

Но что же это за парень, тот, что старается подцепить слегой бревно? Так тужится-пыжится, что аж шапка сползла на лоб, и глаз не видно. Да ведь это же Торломой! Ну тогда все ясно. Разве можно за такое бревно браться одному? Наживешь еще грыжу.

Всем известно, какой упрямый парень этот Торломой. Ведь и сам знает, что не по силам одному такое бревно, а отступить не хочет.

Конечно, парень он холостой, только что вернулся из армии, не чета нам. И на самолетах летал, и на поездах ездил, в больших городах бывал, людей повидал. Можно бы, конечно, и на помощь позвать, например, того же Тордока, который копошится у пилорамы.

Вот ведь как получается: где человек только ни бывает, чего ни увидит, чего ни узнает, но никак не поймет, что нельзя надеяться только на силу своих рук.

Ну и настырный же этот парень Торломой, все-таки сладил с бревном, хотя оно уже и падало, поднатужился и уложил, как ему хотелось, хотя из глаз слезы чуть не брызнули, а из груди вырвался хрип, как у загнанного жеребца.

Тордок стоял у пилорамы, смотрел, как мелькают острые зубья пилы, вгрызаясь в серое дерево, и его одолевали посторонние думы, никак не связанные с работой.

«А что если мне продать бычка от старой коровы? — думал он. — Но до трехсот рублей, пожалуй, не дотянет. А надо бы довести. Может, летом через день поить его теплой соленой водой, приучить к пойлу, давать ему зерна? Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Только станет ли бычок есть зерно, он ведь не лошадь?»

А еще неплохо бы где-нибудь достать поросенка. Нет, и связываться не стоит. Дорого обойдется. А вот коз можно держать. Одного пуха сколько можно начесать! Только ведь им, чертям, никакая изгородь не помеха. Заберутся в огород, все подметут подчистую — и капусту, и свеклу, и морковь. Если только огородить колючей проволокой, тогда не только козы, но и ребятишки в огород не проберутся. А проволоку можно достать у телефониста, колючки можно самому нарубить топором.

Все это хорошо, но прежде чем думать об изгороди, надо починить ворота. Совсем рассохлись, развалились, и гвозди, как крючки, торчат. Куртка стоила шестьдесят рублей, зацепился за гвоздь и вырвал клоч. Что за материя нынче пошла, шуршит, как бумага, и рвется, как бумага. Прежде из сукна шили, покрепче было. А теперь и заплаты-то подходящей не найдешь. Да и не ходит никто в заплатках, не те времена. Пропала куртка, никуда не наденешь, к знакомым не покажешься в рваной куртке. Если уж говорить о знакомых...

Когда я ездил в последний раз в Шебалино, так ведь, кажется, занимал я там у этого черта, механика, пятнадцать рублей. Или не занимал? Если занимал, то надо бы как-то переслать, а то неудобно. В этом месяце, кажется, заработок у меня неплохой выйдет. Если только этот недотепа-учетчик опять все не перепутал. Каждый раз с ним приходится спорить, доказывать.

Интересно, а что же я в этом месяце делал? Когда умерла бабушка, на похоронах был. Значит, день уже пропал. В Шебалино ездил за валенками. Еще один день пропал. Да как-то, правда, отказался гнать скот в Горный. Но все остальные дни прошли в трудах-заботах. Тут уж не придиришься. Остальные дни — трудовые. Вот только интересно, записал ли учетчик те четыре дня, когда я возил силос?»

Тордок вспомнил, как открывал яму с насквозь промерзшим силосом. В тот день холод стоял лютей. Даже его новые валенки не выдерживали такого мороза, заоченели, задубели так, что ни согнуть их, ни разогнуть. Тот день встал перед ним, как наяву. Силос пришлось рубить топором и укладывать в сани, как кирпич. Все бы еще ничего, но доярки подняли крик, что он чуть не угробил лошадь. А разве он виноват?

«Доярки на меня наорали, — подумал Тордок. — Пусть за это две нормы записывают. Постой, да ведь еще шесть дней я работал на ческе пуха. Если даже в день я начесывал по полтора килограмма, сколько же это выйдет? Немало выйдет. Если в среднем, скажем, по четыре рубля с полтиной... Ну, ладно, полтину скосим для ровного счета. И то неплохо получается...

А прицепщиком работал целых два дня, день искал коз, что растерял Тобоо. А еще что же делал? Четыре дня проветривал зерно, которое начинало гореть. Нет, что ни говори, я вкальвал в этом месяце на совесть.

Теперь бы только доказать этому черту, учетчику, тогда можно считать, что я одолел перевал. Неужели все учетчики такие, только и знают что спорить. Недаром ребята прозвали его Спорим. Теперь мне остается только переспорить этого Спорима. Да, но я забыл, как отмечал день рождения дяди. Опять один день пропал. Уж как не повезет так не повезет. Одну прореху заделаешь, вторая появится».

Тордок вдруг услышал, что пила работает вхолостую, но он не обратил на это внимания, а стал вспоминать, как весело они отмечали день рождения дяди. Как только вспомнил, все его думы, горькие заботы будто метлой смахнуло. Лицо его так и лучилось радостью.

Очень интересно смотреть со стороны на человека, который радуется. Стоит, как малое дитя, раскрыв рот, и радуется.

Между тем бревно вышло из-под пилы, распиленное на пять тесин. Тордок заметил это и удивленно пробормотал:

— Э-э, сколько же штакетника можно напилить из этих тесин!

Торломой в это время сидел на бревне и не шевелился. О чем он думал, кто его знает. Человек только что вернулся из армии, всего несколько дней провел дома, и вот его отправили на эту черную работу...

Тордок, глянув на кучу теса, вдруг крикнул Торломою:

— Эй, парень! Иди-ка сюда! Смотри, сколько мы тесу напилили. Теперь хорошо бы высушить да построгать. Какие доски!

— Что ж, доски хороши. Гробы можно из них делать и дворцы тоже. На все годятся.

— Всего можно понаделать, — согласился Тордок. — Штакетник хороший выйдет.

— Можно, конечно, и штакетник.

— На словах-то мы все можем, — сказал Тордок. — А попробуй сделай себе несколько штакетин, у некоторых животы лопнут от зависти. Есть у нас еще завистливые, готовы живьем слопать.

— Вот это дает наш Тордок! Все-то ему известно.

— А разве не так?

— Все ты знаешь, насквозь человека видишь. Жаль только, что таких, как ты, молодцов, на свете мало. Ну еще чего ты знаешь, Тордок? Говори, не таи. Поведай мне свои последние открытия, порадуй меня.

— Ну тебя-то я знаю, это точно. Только что вернулся из армии, как бы новый человек. Все можешь говорить. Но вот почему ты вернулся из армии и не отдохнул как следует? Ведь некоторые ребята после армии только и делают, что ходят руки в брюки. Месяц или два гуляют, по клубам шастают. Да еще месяц прохлаждаются, делают вид, что учиться собираются. А уж на третий месяц говорят, что с учебкой дело не вышло, опоздали, теперь можно годик и поработать. Годик работают, второй, третий. Какая уж там учеба.

А ведь если правду говорить, то для чего им эта учеба? Неужели, чтобы пасти овец, надо ехать куда-то учиться? Слишком непоседливых овец прутиком можно поучить, а слабых на усиленный корм поставить. Тут не нужны никакие синусы, косинусы. Разве не так?

Просто, когда мы приходим из армии, то любим покрасоваться перед людьми, мол, мы много знаем, да мало говорим. Молчанье — золото, а слово — серебро. А и дурак умен, когда молчит. Все мы ученые. Вот я. Если нужно о международном положении — пожалуйста. Тут много болтать нечего. Я могу хоть сейчас объяснить о положении в мире. Будет война, не будет войны — все объясню, все растолкую. Раз знаю, могу и говорить. Я ведь тоже служил и на западе, и на востоке, приходилось бывать в далеких командировках. Хотя бы рассказать о вокзале в Новосибирске, хватит на целую лекцию... Все мы слушали. Но речь не обо мне.

Вот пришел этот солдат из армии, месяц гуляет, другой, потом шум, драка. «В чем дело?» — «Да вот, ребята-солдаты придираются». — «Из-за чего бы это?» — «Лезут да и все».

Вот с этого дня наш солдат и делает вид, что собирается идти учиться. А если все это перевести на наш, алтайский, язык, то просто парень обиделся, требует к себе особого отношения.

Торломой, молча слушавший все эти рассуждения, вдруг встрепенулся:

— Что это вы хотите этим сказать, дяденька?

— Если уж я начинаю лекцию, то не могу все прямо высказать, — усмехнулся Тордок. — Как лошадь-недотрога, начну на одном месте кружиться. Но если войду в азарт, меня не остановишь. Это только начало, пока цветочки...

— Значит, будут и ягодки, пока мы распилим все эти бревна?

— Не знаю. Ягодки-то еще зелены, пожалуй. Боюсь, набьешь себе оскомину.

— Ничего, давайте ягодки. Солдат все может выдержать.

— Да не о тебе речь.

— Я понимаю, вы старше меня намного. Вас полагается уважать. Но вот какое дело. Раньше я как-то не особенно прислушивался к речам людей, а сейчас смотрю, ничего не изменилось в их речах. О чем раньше говорили, о том и сейчас я слышу, ничего нового. Все это понятно. Но ведь у человека должна быть какая-то высокая цель, хотя

это слишком громкое слово. Пусть какое-то желание. А мы так и не оторвались от своего дома, от своего забора, от своих извечных забот. Вот говорят у нас: «Если ты в кителе, то не слишком воображай». А чего нам воображать?

— Вот-вот, Торломой, таким ты мне нравишься. Ты стал ясно говорить то, о чем думаешь. Молодец! Люблю откровенных ребят.

— Не надо обращать все это в шутку. Откровенность моя тут ни при чем.

— Ты вот начал о кителе. Это главная тема, — сказал Тордок.

— О, мы всегда мастера кого-нибудь поддеть, подцепить, подкопырнуть, за словом в карман не лезем. Подкинем что-нибудь позаконнее да и ждем, что из этого выйдет.

— Ну ладно, Торломой, не будем спорить, а то нам сегодня не распилить эти бревна.

— Наш разговор работе не помеха.

— Пока что не работа спорится, а только языки наши быстрее начинают молоть. Вон видишь, прозевали. — Тордок, чуть не плача, указал на тесину, которая вышла из-под пилы кривой.

Оба умолкли, направили по-новому пилу и больше уже не спорили.

А в конторе сегодня и правда деньги выдают. Только там очередь почти уже вся иссякла, зато в магазине очередь все длиннее. А вы тут тес пилите, останетесь без ничего, как пить дать.

Если бы был жив дедушка Терзен, он бы, как ясновидец, все предсказал, что случится в этот веселый день, особенно вечером, когда село наполнится шумом и песнями.

Но ничего, товарищеский суд все выяснит и без деда Терзена: «В такое-то вот число товарищеский суд присудил за неблагоприятный поступок таких-то к штрафу...» Среди них может оказаться и Бошпок, и Норок, Биен, или дяденька Мундусов попадет в этот капкан. Но проживем, тогда увидим, кто из них. Слава богу, что эти двое, Тордок и Торломой, оказались вдали от праздничной суматохи. Пилят тес как ни в чем не бывало. Только немного сердятся друг на друга, поспорили. Но с кем это не бывает?

Тордок вон начал разводить пилу. Забавно посмотреть на него в этот момент, как он, прищурив один глаз, наклонив голову, рассматривает зубья пилы. Неужели для этого разглядывания надо уж так широко открывать свой рот? Да еще как-то и криво? Впрочем, на этом свете всякое можно увидеть. Не зря раньше говорили, что человеку хоть раз в жизни да доведется поест из золотой чаши. И это похоже на правду.

Хорошо бы сфотографировать круглую голову Тордока с широко раскрытым ртом да напечатать в журнале «Театр» или «Искусство». Только без пилы, конечно. И подписать, мол, перед вами герой такой-то драмы артист Тордок. Вот была бы потеха.

Конечно, ничего бы не вышло. Все дело портит большеухая шапка — будто две руки проголосовали на собрании. А свои уши у Тордока забиты опилками, но это на фотографии, наверное, не было бы заметно. Самое заметное у Тордока — шея. Сколько же он напялил на себя рубах? Наверное, все, какие нашлись дома. Тут виден краешек футболки, затем воротники желтой, синей, голубой рубах. Сверху телогрейка да еще плащ. И рукавиц — четыре-пять пар друг на дружку натянуты.

Конечно, в этих рубахах да с ушами, забитыми опилками, Тордок никак не годится в артисты. И все же, если взглянуть на его широко открытый рот, на прищуренные глаза — ни дать ни взять талантливый артист.

Ну ладно, не будем мешать работающему человеку. И не надо ссориться, ребята. Все вы действительно артисты великой драмы, которая называется — жизнь...

Выдающийся советский писатель Александр Яковлевич Яшин (1913—1968 гг.) родился в с. Блуднове Вологодской области. Окончил педагогический техникум, работал учителем в деревне. В 1941 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первый сборник стихов «Песни Северу» издан в 1934 году. В 1941 году А. Яшин добровольцем уходит на фронт. В этом же году вступает в члены КПСС.

После войны А. Яшин много ездит по стране, впечатления от поездок на Север, на Алтай легли в основу многих его поэтических и прозаических книг. А. Я. Яшин — лауреат Государственной премии СССР. В альманахе «Алтай» печатались его стихи (1947, № 1), «Алтайские дневники» (1978, № 3—4).



Александр ЯШИН

## СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПОВЕСТЬ\*

Ничего особенного не случилось: Павел Алексеевич Солодков по-прежнему оставался секретарем райкома партии, коим был уже много лет. Его только перебрасывали в новый район. Правда, менялась обстановка: район был высоко в горах, далеко от областного центра и заселен в основном алтайцами и казахами-животноводами, а не русскими хлебопашцами. Но какая разница! Солнце там есть? Есть! Земля наша, советская? Без сомнения! Значит, можно жить и работать по-прежнему! — думал он, припоминая нечто подобное, сказанное летчиком Чкаловым. Не встревожилась и семья Павла Алексеевича. Жена его, предприимчивая и осторожная, настоящая хозяйка в доме секретаря, давала мужу обычные перед отъездом наставления:

— Ты, Павлуша, только не горячись, не спеши, присмотришься — все будет хорошо, все наладится и на новом месте.

— Ладно, Рая, молчи! — повторял Павел Алексеевич, хотя всегда ждал и хотел, чтобы она высказывалась по любому серьезному поводу.

С некоторым беспокойством и неловкостью думал Павел Алексеевич лишь о предстоящей встрече с Крюковым, которого должен был заменить на посту первого секретаря.

Крюкова он знал и помнил по областным совещаниям. Это был высокий красивый человек лет сорока с крупными чертами лица, с твердым пристальным взглядом, видимо, властный и уверенный в себе. На совещаниях выступал он не часто, но когда выступал — его слушали. Четкий крупный бас свободно доходил до самых дальних рядов, мысли были ясными, предложения определенными и понятными для всех. Крюков говорил так, будто размышлял вслух. Казалось, что он далеко пойдет, и Павел Алексеевич это учитывал. Да и многие учитывали!

Вспомнил Павел Алексеевич, как однажды Крюков вступился за какого-то председателя райисполкома, которому давали нагоняй за то, что он ежегодно возвращает средства, отпускаящиеся на строительство Дома культуры, а в районе негде было даже кинокартину показать. Крюков просто и убедительно доказал, что бессмысленно начинать стройку с такими мизерными ежегодными ассигнованиями, к тому же район ни разу не смог получить каких-либо строительных материалов,

\* Печатается с сокращениями.

а закупать их на стороне по свободным ценам не имел права. В другой раз Крюков в присутствии приехавшего в область министра рассказал о нелепой практике, когда сборные деревянные дома, поступавшие чуть ли не из Финляндии, оседали в лесозаготовительных районах, где они были совершенно не нужны, а в степи в это время новоселы-целинники мерзли в палатках. Крюков требовал сборные дома и для себя, в свой высокогорный район, и ему не прочь были бы дать, но ведь хлопот сколько, далеко возить надо... В общем, получалось так, что он выносил сор из избы, и хотя областному начальству тогда его выступление не очень понравилось, для дела оно оказалось очень полезным.

Но был у Крюкова и недостаток: он не всегда мог хорошо ответить на реплики из президиума, вероятно, терялся и не умел, когда требовалось, признавать свои ошибки и надлежащим образом каяться...

Павлу Алексеевичу не совсем было ясно, почему Крюкова снимали с работы. Чего-то, видно, не вытянул, на чем-то споткнулся... На чем?.. И Павел Алексеевич снова пробовал представить, каким будет его разговор с этим человеком, к которому он раньше относился с уважением. Возможно, Крюков будет зол и угрюм — это, пожалуй, больше всего вяжется с его независимым характером. А может, наоборот, будет чрезмерно услужлив и добр, попытается завязать дружбу, чтобы при случае опереться на его, солодковский, авторитет, если в районе обнаружатся еще какие-нибудь неприятности. Может, даже попросит не все доводить до сведения высокого начальства — все-таки спасти положение в крюковском районе послали не кого-нибудь, а его, Солодкова, и от него теперь зависит многое... Последние предположения относительно обстоятельств более вероятными и естественными, хотя он даже себе не признался бы в том, что хотел иногда увидеть своего товарища и с такой неприглядной стороны.

К месту нового назначения Солодков выехал рано утром, когда густой туман ограничивал видимость, и первые десятки километров пути ничто не отвлекало его от этих воспоминаний и размышлений. Стекла обкомовской «Победы» казались матовыми, сквозь них иногда лишь проглядывались какие-то темные пятна, неясные очертания близко мелькавших скал и огромных хвойных деревьев.

Но вот утренний туман исчез. Он не рассеивался постепенно, а оборвался на крутом подъеме сразу, стеной, как это часто бывает в горах, словно машина вдруг вырвалась из длинного подземного тоннеля. Сразу наступил солнечный день, появились небо, лесистые вершины, бурные потоки и убегающее вдаль по ущелью, вьющееся среди зелени серебристое асфальтовое шоссе.

Чем выше, тем ущелье становилось уже, и когда одна его сторона ярко освещалась солнцем, другая погружалась в тень, краски ее меркли, а каменные обрывы местами казались совершенно черными.

На дороге и по сторонам ее на отрогах гор стали попадаться бесчисленные овечьи отары. Их охраняли конные пастухи-алтайцы и собаки. Эти скопища овец издали напоминали осыпь серых камней-валунов. Пробриться сквозь встречную отару было невозможно, приходилось останавливать машину и переждать, пока овцы, блеющие, жующие, поднимающие тучи пыли и непрерывно посыпающие асфальт черным горохом, скатятся, обтекая машину с обеих сторон, вниз.

Встречались также табуны откормленных лошадей, стада коров, среди которых мелькали какие-то странные, незнакомые Солодкову коровы с конскими хвостами и с рогами, широкими, как у буйволов. Когда «Победа» попадала в середину стада, Солодкову становилось страшно этих огромных и острых рогов: казалось, они вот-вот начнут дробить боковые стекла, колоть и кромсать жестяные стенки кузова.

Замирал Павел Алексеевич также на резких поворотах и на крутых спусках дороги.

— Ты не лихач? — спрашивал он шофера, подозрительно посматривая на его простецкое напряженное лицо с широко поставленными глазами и на заскорузлые рабочие руки, слившиеся с колесом рулевого управления. — Осторожнее, не картошку везешь!

А шофер побаивался только грузовиков. Они проносились целыми колоннами с воем, со свистом по самой середине узкого шоссе и не сторонились, а, наоборот, старались сбить маленькую «Победу» на обочину или под откос. Особенно опасно было обгонять их. Шофер «Победы», выждав, когда появится наиболее ровный и прямой отрезок пути, подходил к грузовику сзади вплотную и начинал настойчиво, непрерывно сигналить, как бы упрашивая, умоляя водителя посторониться, но тот нарочно давал газу и ехал левой стороной.

— Вот кто лихачи, — ругался и жаловался шофер Павлу Алексеевичу. — Управы на них нет.

— Это уже не лихачество, а хулиганство, — сказал Павел Алексеевич.

Во второй половине дня потребовалось заправить машину: бензocolонка на трассе была единственная, дальше, вплоть до государственной границы, надеяться ни на что не приходилось.

Заправлялись машины самых разных марок: районные и областные, совхозные и курортные, горнорудных шахт и научной экспедиции по раскопке древних курганов. Только колхозные грузовики «добывали» бензин — открыто перекупали его у самосвалов тут же, у бензocolонки. Солодков видел это, вздыхал, но ничему не удивлялся: колхозам повсюду не хватало лимитного бензина.

В очереди на заправку простояли около двух часов, поэтому пришлось подумать о ночлеге. Шофер предложил свернуть в оленеводческий совхоз, где можно было бы неплохо провести ночь.

Остановились в доме для приезжающих. Из окна дома Солодков увидел на склоне горы могучие лиственницы и кедры — целый бор. За высокой бревенчатой изгородью на изумрудно-зеленых освещенных закатом полянах паслись маралы, спокойные, как коровы, а вдали, среди стволов, изредка мелькали стройные пятнистые олени.

Директор совхоза, юноша, недавно окончивший Московский пушно-меховой институт, узнав, что в его поселке проездом отдыхает новый секретарь соседнего райкома партии, пришел познакомиться с Солодковым и настойчиво рекомендовал ему задержаться на денек, чтобы осмотреть хозяйство совхоза и присутствовать при срезке пантов. Крюков однажды провел у него два дня, и директор рассказывал о нем много и охотно.

— Разносторонний человек, пытливый, дотошный. Интересно, что уже на другой день олени его признали и не боялись.

В глазах молодого директора это, видимо, была наилучшая характеристика, какую можно было дать человеку. За что Крюкова сняли с работы, он тоже не знал и деликатно ушел от разговора на эту тему.

Павел Алексеевич не остался в совхозе, решив, что все еще успеет с и он побывает здесь в другой раз.

На следующий день с утра дорога по ущелью еще резче пошла на подъем. Порожистая река, которую они то и дело пересекали по деревянным и металлическим мостикам, кипела, как водопад, уже на всем ее протяжении. На горизонте все чаще появлялись снеговые вершины. Маленькие водяные потоки, срывающиеся с отвесных каменных громад, подходили на сыпучие струи сухого распыленного снега.

Павла Алексеевича начало немножко поташнивать. Шофер заметил это и сказал:

— Трудно вам здесь будет. К такой высоте привыкать придется.

С одного из перевалов Солодков увидел строящуюся гидростанцию. К зданию ее сверху спускались под большим углом две мощные трубы. Вода еще не поступала. По-видимому, монтировались агрегаты.

— Чья это? — спросил он.  
— Крюковская, — ответил шофер. — Теперь ваша, межколхозная.  
Крюков, я слыхал, сам инженер.  
И Солодков начал опять думать о предстоящей встрече с Крюковым.

Наконец миновали последний скалистый выступ и вырвались в бесконечную степь. Сразу стало так светло и просторно, словно они въехали прямо на небо. Не успел Павел Алексеевич осмотреться, как с обеих сторон замелькали домики районного поселка.

Когда машина остановилась перед деревянным двухэтажным зданием райкома партии, в окнах его что-то замельтешило, забегало, и с крыльца, заскрипевшего, словно от боли, быстро спустился сам Крюков. Пригнувшись, он заглянул в машину через ветровое стекло и, узнав Солодкова, поспешно распахнул для него переднюю дверь.

— Ну, здравствуй, Павел Алексеевич, здравствуй! С приездом! Как добрался? — радушно заговорил он.

«Видно, сидел в райкоме и ждал», — подумал Павел Алексеевич, вылезая из машины и радуясь, что встреча произошла так просто.

— Добрался, спасибо. Ох, и дорога сюда: вверх-вниз, вверх-вниз, да кругами, кругами... Небо и горы, орлиные места. Красоты всякой много, только с непривычки в глазах рябит. — И он хотел было обнять Крюкова, но не решился, потому что не знал в точности, за что он снят с работы, и потому только подал руку, которую тот крепко потряс.

Солодков был невысок, кругловат от рождения, щечки у него были собственная жена называла его порой Колобком. Щеки у него были тоже круглые и розовые, а брови блесые, реденькие, их почти не было заметно, и потому все лицо Солодкова казалось еще более круглым, ласковым. Да и весь он казался очень ласковым.

— Красоты много. И высота здесь большая, воздух разреженный, здоровый. Но поначалу может и голова заболеть, привыкать придется, — сказал Крюков и снова заглянул в машину через заднюю дверь, готовясь открыть и ее, но в машине никого не было. — Где же твоя семья? — спросил он. — Почему хоть жену не взял?

— За женой дело не станет, придет. Надо осмотреться сначала, устроиться... Зачем спешить?

— А чего устраиваться? Для тебя уже все подготовлено. Квартиру я освобожу немедленно. Правда, квартирка неважная, но лучшей здесь нет. Видишь, какие постройки! — Крюков кивнул головой в сторону поселка.

Районное селение находилось с краю широкой ровной долины среди гор. Мелкие глинобитные домики с плоскими крышами примыкали один к другому, как лепные птичьи гнезда. Среди них двухэтажное здание райкома стояло торчком, словно сурок, настороженно поднявшийся у степной дороги. Улиц не было, только переулки, проезды да проходы между домами и такими же низкими глинобитными оградами. Ни одного дерева, ни одной побеленной стены. Не было зелени и во круг поселка. Вся долина просматривалась до горизонта — гладкая, круглая, окаймленная снежными вершинами гор. И хотя горы казались совсем рядом, а долина маленькой, на самом деле это высокогорное плато было такое широкое, что представлялось выпуклым, как безбрежная гладь моря, и на горизонте виден был не весь горный хребет, а лишь его белоснежные вершины — алтайские белки. Орлы здесь летали совсем низко, над самым поселком, как вороны. Они чувствовали себя в своих владениях, на своей орлиной высоте. Вдали среди альпийских трав в разных местах стояли одиночные пастушья алтайские айлы, казахские юрты. Полдненное солнце жгло со всей возможной силой, но жары не ощущалось, с белков струился прохладный чист-



тый воздух. И только из-за пыли, мелкой, удушливой, накрывавшей весь поселок после каждой проезжей машины, возникало впечатление тяжелого июльского зноя.

— Да, столица! — раздумчиво протянул Павел Алексеевич и, как бы ободряюще, похлопал по плечу Крюкова. — Ничего, все наладится. Ну, пошли, что ли?

— Пошли, пошли, Павел! — вдруг заторопился Крюков и взял из рук шофера один из солодковских чемоданов.

Крюков был на голову выше Солодкова, и Павел Алексеевич помнил об этом, помнил, как в обкоме, в перерыве между заседаниями он, бывало, издали в толпе замечал его красивую крупную голову и протискивался, чтобы обменяться с ним рукопожатиями. Но сейчас они стояли рядом, и у Павла Алексеевича не было ощущения, что Крюков выше его ростом. Тревожное ожидание неловкости первой встречи сменилось у нового секретаря удовольствием, что все обошлось так хорошо, и он относил это за счет своего покладистого мягкого характера, своей общительности. Казалось, что и Крюков держался совершенно свободно, без какой бы то ни было скованности. Более того, Павел Алексеевич вдруг увидел, что тот просто рад его приезду, увидел и поверил в это, и ему стало легко и хорошо.

На крыльцо райкома первым поднялся шофер с чемоданом. Сухо заскрипели доски, дрогнули и чуть перекошились перила, и вслед за этим невидимая рука изнутри распахнула входную дверь. За шофером через порог шагнул Павел Алексеевич, за ним Крюков с чемоданом. Пока они входили, дверь придерживал чистенький, подобранный молодой человек с усиками, в очень широком плечистом пиджаке. Он же первый и приветствовал нового секретаря: какое-то мгновение быстрые глаза его растерянно смотрели то на шофера с чемоданом, то на Солодкова, то на Крюкова, напрягались, волновались и наконец решительно остановились на Павле Алексеевиче, и молодой человек воскликнул:

— Проходите, Павел Алексеевич! Здравствуйте!

— Здравствуйте! — ответил Солодков.

— Это наш общий отдел — Брошкин, — отрекомендовал его Крюков. А Брошкин отпустил наконец дверь, которая сразу захлопнулась, подхватил чемодан у шофера — у солодковского шофера, а не у Крюкова, — и бросился вперед по узкому темному коридору к кабинету первого секретаря.

«Наверно, местный сердцеед», — подумал о нем Солодков.

По обе стороны коридора было много фанерных дверей, как во всяком сельском райкоме. В коридор выходили и печи. Одна из дверей чернела клеенкой. Ее открыла и так же, как Брошкин, попридержала девушка-машинистка.

— Здравствуйте, Павел Алексеевич! — сказала она. — Пожалуйста! — и показала на следующую дверь, которая вела уже непосредственно в кабинет первого секретаря. Эта последняя оказалась значительно тяжелее других, также обита клеенкой и была двойной, а потому напоянала вделанный в стену шкаф.

«Все как было и у меня», — подумал Павел Алексеевич и, вскинув глаза, удивился: на темной стеклянной дощечке поблескивали уже его фамилия и его инициалы. «Ишь ты, подготовились... успели вывеску переменить... быстро!» — и он взглянул на Крюкова. С такой предугадываемостью он еще не сталкивался ни разу.

— Входи, входи, Павел Алексеевич, не робей! — весело заговорил Крюков, ставя его чемодан у стола машинистки, и уже взялся было за дверную ручку, чтобы открыть перед ним свой кабинет, но также заметил новую надпись, заметил, видимо, впервые, и невольно помрачнел и замялся. При этом он сделал такое движение, словно хотел постучать в дверь, прежде чем войти в нее. Заминка эта была недолгой и почти

незаметной ни для кого. Крюков быстро овладел собой, резко распахнул дверь и вошел в кабинет первым.

— Вот, друг, твои владения, принимай, садись и властвуй! — шутиливо сказал он.

К большому письменному столу секретаря, заваленному папками, газетами, примыкал под прямым углом другой стол, покрытый зеленым сукном, с обеих сторон которого были вплотную придвинуты дешевые гнутые стулья. На одной из стен висели карты района, области и Советского Союза и, как всюду, портреты членов Президиума ЦК партии. На другой — образцы овечьей шерсти, фотоснимки колхозных отар и стад и портреты местных знаменитых чабанов. Особо красовались породистые выхоленные бараны и, как языческие боги, мохнатые сарлыки — коровы с конскими хвостами. Справа в углу стоял стандартный нескороаемый шкаф для партийных документов, слева — высокий белый холодильник «ЗИС». Все в этом кабинете было для Павла Алексеевича знакомым и обжитым, все до мелочей, даже буква «Г», составленная из двух столов, все было таким же, как в любом кабинете любого ответственного работника в любом конце страны, — где побогаче, где победнее. Только в иных районах вместо клочков шерсти на стене висели бы пучки пшеницы, овса, ржи или початки кукурузы, а на столе в коробках под стеклом могли лежать образцы рудных пород, куски каменного угля и тому подобное, в зависимости от экономической специфики района. Необычным казался в этом кабинете лишь холодильник, похожий на белый аптечный шкаф.

— Для чего он, откуда? — сразу спросил Солодков.

— Я сам не знаю. Брошкин говорит, что получен по разрядке для кабинета секретаря, чтобы под рукой всегда были на пробу овечьий сыр местного производства, кумыс, верблюжье молоко... Начальство ездит, спрашивает. Правда, нет электричества, а то бы можно ставить любые прохладительные напитки. В общем, так положено, так Брошкин сказал. Я занимался не холодильниками. Да что холодильник! Сюда хлебные комбайны даже засылали...

— А вывеску-то рано сменили... Надо еще выборы провести.

— Я тут ни при чем, Павел Алексеевич! Это, видно, Брошкина дело. А выборы? Что ж выборы... Послезавтра проведем.

— Брошкин да Брошкин... Старый работник, что ли?

— Давний! Уже четырех секретарей пережил.

Они стояли, и Крюков предложил Солодкову садиться, кивнув на кресло у письменного стола. Солодков в кресло не сел. Не сел в свое кресло и Крюков, и они устроились за столом для заседаний один против другого. Павел Алексеевич тронул пепельницу, стоявшую на зеленом сукне, и Крюков немедленно достал из кармана пачку «Беломорканала».

— Кури, Павел Алексеевич! — сказал он и чиркнул спичкой.

Пока Солодков вынимал из пачки и разминал в пальцах папиросу, спичка догорела. Крюков зажег вторую. Солодков закурил и, не поднимаясь, стал рассматривать фотоснимки на стене и коллекцию волнистой тонкорунной шерсти. Крюков тотчас встал, снял фотоснимки, коробки с шерстью и подал Павлу Алексеевичу.

Шерсть оказалась жирной, немойтой, Павел Алексеевич отложил ее и взял фотоснимки.

— Что это за чудовище? — спросил он о сарлыке. — Я таких видел уже по дороге.

— Местная, горная корова. Молока дает мало, но жирность до восемнадцати процентов. Сейчас выведен гибрид сарлыка и обыкновенной коровы — кайлык. Больше дает мяса и молока при той же высокой жирности, а неприхотливость что у сарлыков.

— Значит, схватили сарлыка за рога. А это? Коза?

— Коза не простая, ангорская. Шерсть овечья, пух, как на кошке,

а выносливость козья. В жару овцы задыхаются, лежат, а козе хоть бы что...

Казалось, что Крюков следил за каждым движением Павла Алексеевича и старался предупредить все его желания. Что это — простое радушие или он действительно начинает заискивать? Во всяком случае Солодков стал замечать, что Крюков очень изменился. Черты лица его стали слишком мягкими, строгость исчезла. Должно быть, здорово провинился в чем-то.

— С чего начнем? — спросил его Крюков.

— А ты не торопись, дай отдышаться.

— Ну что ж, отдышись. Может быть, на квартиру поедем, там отдохнешь?

— Я не устал. Расскажи-ка вот о районе поподробнее, что за люди здесь, какой актив?

— Об аймаке?

— О каком аймаке?

— Район — аймак по-алтайски. Завтра у нас большой национальный праздник — День пастуха. Впервые в истории. Много завтра увидишь. Задумали широко. Съедутся люди из всех колхозов. Центральные усадьбы у нас малолюдны, народ в основном на дальних стоянках, в степи, в горах, со скотом, за сотни километров от райцентра. Туда за лучшими пастухами подаем машины. Тебе придется открывать праздник и взять руководство на себя.

— О нет, я лучше сначала посмотрю со стороны.

— Да ты не опасайся, у нас все подготовлено как следует. И хор будет. Для алтайцев это событие небывалое, поэтому в хоре у нас даже начальник милиции участвует, даже председатель райисполкома. Весь партийный и комсомольский актив поет.

— Я посмотрю со стороны! — твердо заявил Солодков, и Крюков смолк.

Потом они подошли к карте, и Крюков стал рассказывать об особенностях этого высокогорного района, о том, чем он был и чем может стать.

— Места здесь, Павел Алексеевич, суровые. Иногда снег лежит вплоть до июня. Правда, на самом плато все сдувает ветер. А летом жара градусов до тридцати пяти и выше, вот как сегодня. Все выгорает. Степь превращается в пустыню. Хотя за лето земля успевает оттаять на метр-полтора, не больше. Так что, по существу, здесь вечная мерзлота. И холодок при любой жаре: лицо печет, а по спине мурашки бегают, один бок горит, другой замерзает.

Население занимается исключительно скотоводством. Овцы, сарлыки, козы, верблюды, кони... У нас на одного человека приходится около двухсот семидесяти голов разного скота. Есть колхозы, в которых только овец до двадцати шести тысяч. И все на подножном корму летом и зимой.

Сенокосы у нас плохие, кормов удается заготовить очень немного, только чтобы застраховаться на время сильных бурь. Зато наше альпийское сено по калорийности чуть ниже овса.

Понятно, что народ ведет полукочевой образ жизни: где скот — там и люди. Весной — в степи, на свежей травке. В степи проходит и окот овец. Окот овец — это наш урожай. В степи и стрижка. Позднее отары уходят на горные высоты, где меньше мошки.

Зимние стоянки скота там же, в горах, пониже ледников, в безветренных местах. Зимой в горах тише, чем летом, а в степи наоборот: летом — сравнительно тихо, зимой — бураны, земля с небом перемешивается. Чтобы объехать стоянки скота только одного колхоза, требуется не меньше двух месяцев. Представляешь себе, как трудно здесь работать с людьми, обслуживать их! Показать людям кинокартину — это уже проблема.



— Да-а! — вставил Солодков. — Обстановочка!

— Но аймак наш ежегодно поставляет государству огромное количество скота, примерно третью часть всего, что сдает область. Сейчас на трассе находится тридцать шесть тысяч голов. Эти стада растянулись на двести километров. От нас до мясокомбината они идут месяца три, нагуливая в пути жир. И там — наши люди, наши пастухи и политработники. Спят в седле.

Крюков говорил, все больше и больше увлекаясь, свободно называя цифру за цифрой, и память ни разу не изменила ему. Голос его округлялся, твердел.

Обилие цифр не показалось скучным Павлу Алексеевичу. Он вдруг поймал себя на том, что потерял ощущение, будто находится в немудреном кабинете с дешевенькими стульями и смешным белым холодильником в углу. Он снова увидел Крюкова таким, каким помнил его на трибунах областных совещаний, снова услышал тот же уверенный гордый бас и узнал манеру говорить, которая покоряла всех.

А Крюков уже начал ходить по кабинету от одной стены к другой, медленным широким шагом думающего человека.

— Трудно, брат, здесь, — продолжал он. — Колхозы разбогатели, а народ разобщен, живет в аилах, в юртах. Какой уж тут новый быт, когда в аиле по старым обычаям женщины не могут ступить на левую половину, жена ест только то, что остается после мужа.

Надо убрать аилы и юрты. А это значит, что для каждого колхозника потребуется по крайней мере три дома — в разных местах кочевья. Да и разумно ли это здесь?.. Тот ли это путь? Ведь юрту легко разобрать, погрузить на двух верблюдов и переходить куда нужно вместе с домом и со всем скотом.

В центральном колхозном поселке — понятно, юрты надо изживать совсем. Жизнь оседлая может быть изменена и полностью благоустроена. Но и в поселках: построим мы колхознику дом, а юрта, крытая кошмами, стоит рядом, он не дает ее сносить. Там у него родовой очаг, висит казан, готовится сырчик, кумыс, висят шкуры. Трудно, брат. Тут одних приказов мало...

Дети учатся самое большее до семи классов. Я говорю не об исключениях, конечно. Есть школы-интернаты для детей скотоводов. Но отцу-пастуху удастся приехать к своему ребенку раз в год, ну два раза. Тоскуют и дети и родители. Натоскуется отец, приедет и забирает сына с собой.

Начали мы строить межколхозные дома животноводов — в местах, где больше всего стоянок. В таком доме и кинозал, и библиотечка, и медпункт, и магазин. Можно лекции читать, проводить собрания. Но лес для строительства надо возить километров за триста-четырееста с дальних перевалов. Есть и ближе, в горах, но попробуй доберись до него — недоступен. В районе больше сотни грузовиков и ни одной авторемонтной мастерской. Да нет ее, кажется, и в областном центре.

Крюков остановился у письменного стола, сел в свое кресло, выдвинул боковой ящик стола и достал шкатулку с кусками горных пород.

— Вот на что мы надеемся! — сказал он, любовно показывая цветные, поблескивающие разными оттенками и ничего не говорившие Павлу Алексеевичу камни. — Много богатств в горах. Добывается уже ртуть, молибден, вольфрам... Высоконько, черт возьми, ох, высоко! Но времена меняются, и не так страшен черт. Будет железная дорога, все будет. Правда, пока есть одни проекты.

И Крюков опять встал и начал ходить.

Павел Алексеевич слушал очень внимательно, ему было интересно все, о чем говорил Крюков, и старые симпатии к этому человеку не только не уменьшались, а росли, крепились. Но Солодкову казалось, что все это не самое главное и нужное из того, что он должен немедленно

узнать и почувствовать, прежде чем приступить к работе на новом месте. Ему казалось, что самое важное для него сейчас — это выяснить, почему Крюков снят со своего поста, в чем он провинился, что не учел, чего не досмотрел, и что, выяснив это, он больше разберется в условиях своей будущей работы, больше поймет особенности района, чем из сообщений о вечной мерзлоте, о сарлыках, о юртах, о сенокосах.

И Павел Алексеевич попросил Крюкова сесть рядом с ним, на прежнее место, сам поудобнее, поплотнее устроился на стуле и, склонившись к нему через стол, доверительно заглядывая в глаза, спросил:

— Послушай, друг Крюков, скажи по-товарищески, что все-таки произошло с тобой? За что тебя?

Крюков словно испугался этого вопроса, сжался, положил локти на стол, а голову на руки и вдруг начал признавать свои ошибки.

— Нагрубил я, Павел Алексеевич, погорячился. Виноват. Знаешь ведь, с кем не бывает? Нам здесь на местах не все видно, многого часто понять не можем. Перспективы не учитываем, живем как бы на подножном корму. А надо глядеть вперед, в народ верить и звать его в завтрашний день. В общем, нагрубил я начальству...

Крюков взял папироску, закурил, но папироска оказалась прорванной и не горела, дым не тянулся. Тогда он ткнул ее в пепельницу, скомкал и взял другую.

— Ну а все-таки? — тихо, но энергично настаивал Солодков.

— Да видишь ли... Я отказался от заготовки картофеля. Дали нам весной план. Цифра небольшая, но дело в том, что картофель у нас вообще не растет, его никогда и не сажали. Народ здесь питается в основном мясом, даже хлеба едят мало. Мясо, молоко да сырчик, твердый такой, словно камень, а калорийный. На первый взгляд как будто я прав: раз картофель не сажают, значит, не сажают, и заготавливать нечего. Но это не значит, что картофеля здесь не должно быть. Он должен расти. И руководитель обязан был заранее об этом подумать и налечь на картофель. Правда, люди за скотом не успевают присмотреть, до картошки ли им...

Крюкову не сиделось на стуле, он разгорячился и начал говорить громко, резко, словно отчитывал самого Солодкова за плохую работу:

— Зимой во время многодневного бурана, когда все пути к району были отрезаны снежными заносами, нам потребовалась срочная помощь для спасения скота. Я к директору рудника: дайте людей, дайте машины! Он попросил обратиться к вышестоящему начальству, сам ни на что не решился. Я — туда. Начались звонки, запросы, уточнения. А время идет. Кончилось тем, что нам предложили оказать помощь советами, консультацией. Разве нам такая помощь была нужна? Народ руками снег разгребал, бабы в подолах ягнят перетаскивали, отогревали на груди. Могли помочь, а не помогли. Ну я сгоряча и выдал... Забыл, что с начальством разговариваю.

— И это все? — спросил Солодков.

— В нашем деле это немало. Нам много доверяется, много и спрашивается с нас. Потом с сеном...

В это время кто-то постучал в дверь. Крюков выпрямился и крикнул: — Можно! — но потом, словно бы виновато, посмотрел на Солодкова. Павел Алексеевич, однако, промолчал.

Вошел Брошкин. Опять глаза его секунду перебежали с одного секретаря на другого, наконец решительно остановились на Солодкове, и Брошкин обратился к нему: — Павел Алексеевич, хотел кое-что уточнить...

Затем в кабинете побывали второй секретарь райкома алтаец Тудуев, два молодых паренька инструктора, девушка — секретарь райкома комсомола Сарыева. Крюков встал и, уже не садясь, несколько торжественно представлял их по очереди Солодкову.

Тудуев, очень подвижный черноглазый крепыш, вошел без стука и,

не закрывая за собой двери, без обиняков сказал Павлу Алексеевичу:

— У меня дел нет. Просто зашел взглянуть на вас и пожать руку.

— Вот с кем ты должен сработаться, Павел Алексеевич, — сказал Крюков, дружески оглядывая Тудуева. — Человек, правда, горячий, но народ его любит, и он сам знает тут всех до единого.

Тудуев не смутился, а простодушно и всерьез подтвердил:

— Правильно, со мной нужно сработаться!

— Будем работать! — улыбнулся ему Солодков.

Затем Тудуев повернулся к Крюкову и воскликнул:

— Как же мы с вами-то расставаться будем!

— Да так и расстанемся. Не забывай обо мне — и все будет хорошо.

Инструкторы райкома поздоровались с Солодковым, а с Крюковым уточнили маршрут их очередной поездки по району.

Сарыева никому не сказала ни слова, просто, удовлетворив любопытство, скрылась за спинами инструкторов райкома и исчезла.

Павел Алексеевич держался со всеми приветливо и свободно. Он знал, что умеет нравиться людям с первого взгляда, располагать их к себе, и немножко гордился этим. Партийный работник должен быть общительным со всеми и вызывать к себе расположение и симпатии.

Когда секретари снова остались наедине и сели за стол, Солодков предложил Крюкову папиросу из его же пачки и закурил сам.

— Ну что же сенокосы?

Крюков чувствовал себя уже явно смущенным, казалось, он не хотел продолжать разговора, но и не договаривать было неудобно.

— С сенокосами я, конечно, тоже погорячился, — тоном покаяния начал он. — Тут, видишь, какое дело. Область спустила план аймаку заготовить сена триста десять тысяч центнеров. А у нас вся сенокосная площадь одиннадцать тысяч гектаров, и в хорошем случае мы собираем центнеров по пять с гектара. Значит, тысяч шестьдесят центнеров, а не триста десять. Лучшие угодья в свое время были отданы руднику... Им за глаза, а колхозу обида. Ну я опротестовал. Вышел конфликт. Меня побили.

— Ничего не понимаю, — возмутился Павел Алексеевич. — Ты же прав! Ты совершенно прав. — Сказал он это громко, горячо и оглянувшись, словно бы задумавшись, потом заговорил тише: — А может быть, я чего-то не понимаю? Может быть, ты разъяснишь мне? Правда, у меня точно такая же история была с целиной. Поначалу план подъема дали такой, что он чуть ли не превышал всю площадь района вместе с лесами и озерами. Я осторожно спросил: нет ли ошибки? Стали понемногу сбавлять. Я распахан все пастбища, все солончаки, даже посадочные площадки для самолетов — и все равно не выполнил плана, остался в хвосте... Но зачем же ты горячился?!

Павел Алексеевич, казалось, искренне огорчился и жалел Крюкова за безрассудность. Удивительный человек — самонадеянный, гордый, а ведь умный. Разве так можно?

Солодков решил, что разобраться во всем этом он сейчас все равно не сможет, и в его положении лучше пока не только не возражать Крюкову, но даже поддерживать его... а там видно будет.

Крюкова же обрадовало участие и понимание Павла Алексеевича, он сам себя вдруг пожалел и начал каяться:

— Все-таки нам снизу не все видно. Надо уметь находить внутренние ресурсы, в горах пошуровать надо было. Я, признаться, до сих пор не весь аймак исходил. У нас некоторые колхозы удалены от центра километров на двести пятьдесят. На машине везде не проедешь — на коне верхом и то не в любую погоду. В общем — виноват.

«А здорово, должно быть, его помяли, — думал меж тем Павел Алексеевич. — Вот так и учат нашего брата, так и воспитывают. Не побьешь — разве научишь?»

\* \* \*

Ночевал Солодков на квартире у Крюкова, вернее сказать, в своей квартире. Когда они шли по пыльной ухабистой улице мимо разбитого вдребезги моста через пересохшую речушку, Брошкин с чемоданами Солодкова часто забегал вперед и упрашивал Павла Алексеевича обойти то одну, то другую рытвину. А Крюков думал о том, что Солодков отослал свою машину обратно и со дня на день следует ожидать приезда всей его семьи. Значит, надо немедленно освобождать квартиру — другой подходящей для секретаря райкома здесь не найти. А куда ему, Крюкову, перевезти своих — жену, детей? Его положение оставалось пока неясным: никаких распоряжений из обкома еще не поступало.

В домике, который занимала семья Крюкова, было две небольших комнаты и кухня. Для его жены и двух детей школьного возраста этого было вполне достаточно, так как сам Крюков все дни проводил либо в райкоме, либо в разъездах по колхозам, в степи, в горах. Даже ночевать дома удавалось не очень часто.

В полутемных сенях Брошкин поставил чемоданы и, раскланявшись, повернул обратно. Крюков и Солодков вошли в широкую кухню, которая в сельских домах одновременно служит и «черной избой». Вторая половина дома считается горницей.

Вся кухня, с русской печкой в левом углу, была заставлена вещами — чемоданами, связками, коробками, корзинами. Здесь же стояли две кровати, одна большая, другая для подростков. Из-под кроватей торчали незаколоченные фанерные ящики с книгами. Книги и тетради лежали также на подоконниках и просто на полу. На одном подоконнике стоял школьный глобус.

Секретарей встретила жена Крюкова, учительница, примерно одних лет с ним, и очень похожая на него — такая же черноглазая, бровастая, стройная, выпрямившаяся, казалось, раз и навсегда. Она не ахнула, не всплеснула руками, не захопотала, как обычно начинают хлопотать женщины, встречая гостей, а внимательно взглянула сначала на мужа, потом быстро с головы до ног осмотрела Солодкова, поздоровалась с ним и предложила обоим раздеться и вымыть руки.

— Будем обедать, — сказала она.

— Павел Алексеевич Солодков, — назвал себя Павел Алексеевич.

— Я знаю вас. Меня зовут Настасья Наумовна.

— Это на мое место, Наумовна: Павел Алексеевич! — неестественно громко, почти весело, сказал Крюков жене, видимо, стараясь сгладить ее нелюбезный, как ему показалось, прием и тут же смутился своего высокого голоса.

— Понимаю, Коля! — с неудовольствием посмотрела на него жена, и Крюков смутился еще больше.

— Ну ладно уж, — забормотал он. — Ты покорми нас, пожалуйста. Павел Алексеевич, наверно, давно голоден.

— Сейчас будем обедать, — повторила Настасья Наумовна. — Вы одни? — обратилась она к Солодкову.

— Пока один. Вот осмотрюсь, тогда вызову и жену и наследника.

— Вещи есть?

— Что-то есть, в сенях.

— Возьмите вещи, я вам покажу ваши комнаты. Мы почти освободили их.

Павел Алексеевич только сейчас понял, почему так была загромождена кухня. Он замаялся, не зная, как принять такую поспешность, вспомнил о черной стеклянной дощечке на двери кабинета, где уже красовалась его фамилия, вспомнил слова об угодничестве и хотел было начать отнекиваться, сказать, что Крюковым не было никакой нужды до поры до времени так стеснять себя, но Настасья Наумовна предупредила его:

— Тут нет ничего особенного, все естественно: вам жить здесь, и следует устраиваться сразу, а нам все равно надо было укладывать вещи для переезда. В школе сейчас каникулы и, надеюсь, меня задерживать не будут.

Павел Алексеевич сказал:

— Вы меня ставите в неловкое положение! — но в сени пошел и чемоданы принес.

Ослушаться Настасью Наумовну казалось невозможно: она держалась с большим достоинством и во всем походила на своего мужа, каким его помнил Солодков по старым встречам. Но если муж ее, как представлялось Павлу Алексеевичу, сегодня в чем-то все же сдавал, выглядел порой удрученным, помятым, доходил даже до подобострастия (так показалось Солодкову, и это он оправдывал сложившимися обстоятельствами), то с женой ничего подобного не произошло, она, видимо, ни в чем не изменила себе.

— Прощу сюда! — позвала Настасья Наумовна и, пока Крюков мыл руки, провела Павла Алексеевича в горницу.

Горниц было две. Две очень маленькие комнатки, оклеенные обоями. Первая из них — проходная, немного побольше второй. В ней еще стояли цветы, письменный стол, несколько стульев. «Кабинет!» — решил Павел Алексеевич. Во второй комнате для него была оставлена кровать.

— Здесь будет ваша спальня, — тоном хозяйки разъяснила Настасья Наумовна. — Вы заметили, что пол в кухне значительно ниже, чем здесь. Если будете делать ремонт, прежде всего надо поднять и выровнять полы и желательнее покрасить их. Обои можно не менять, они новые.

— Вы не беспокойтесь, все будет сделано, — сказал Павел Алексеевич. — Моя жена...

— А сейчас идемте обедать, — перебила его Настасья Наумовна и вернулась в кухню.

Солодков тоже вымыл руки.

На столе стояла водка. Поначалу почти не было разговора, но когда Павел Алексеевич выпил, он снова стал думать о том, что Крюков все-таки должен чувствовать себя неловко, стесненно, — положение снятого с работы не может быть завидным! — и что поэтому он, Солодков, должен сделать все, чтобы эту неловкость сгладить и поднять настроение Крюкова. Ради этого Павел Алексеевич решил быть возможно простым и добродушным, приятным. А уж он ли не умеет общаться, ладить с людьми! Надо первому заводить разговор, проявлять инициативу, быть запевалой, чтоб, не дай бог, не подумали, будто он чувствует превосходство своего положения.

— Ты не представляешь себе, Николай... Николай... — начал Солодков и запнулся, сообразив, что он еще ни разу не назвал Крюкова по имени-отчеству, да и не знает его отчества.

— Его зовут Николай Егорович, — спокойно вставила Настасья Наумовна.

— Ну, это неважно, — возразил Крюков.

— Не представляешь себе, Николай Егорович, как трудно мне было согласиться поехать в твой район, как я перепугался. Думал, если уж Крюков, сам Крюков чего-то не досмотрел, значит, действительно район из самых трудных.

— Да, район, действительно, трудный, и тебе, Павел Алексеевич, не будет здесь легко, — сказал Крюков. — Но я полагаю, что в обкоме решили правильно и обдуманно, послав именно тебя: твоя кандидатура при создавшемся положении одна из самых подходящих.

— Ты, значит, считаешь, что я справлюсь здесь?

— Несомненно, справишься. Если нельзя менять обстановку в кор-не, то лучшей кандидатуры, чем твоя, и придумать невозможно.

Солодков ничего обидного для себя в этих словах не заметил.



— Ну, спасибо! — обрадовался он. — Ты, Николай Егорович, немало успокоил меня. А то знаешь — люди новые, я новый, все новое... А в нашем положении самое главное — что? Самое главное — понять расстановку сил, сжиться с людьми, найти свое место среди них, почувствовать основу для хороших взаимоотношений.

— Основа эта должна быть рабочей, — сказал Крюков и покосился на жену.

— Конечно, рабочей, — подтвердил Солодков. — Иначе я не вполне своего назначения. Взаимное доверие должно быть.

— Я верю, Павел Алексеевич, что тебе удастся наладить здесь хорошие взаимоотношения. Правильно, что тебя послали сюда.

Крюков старался быть с Солодковым любезным и сдержанным, чтобы тот, не дай бог, не подумал, будто ему тяжело или что он обескуражен решением обкома или не согласен с ним и потому злится на Павла Алексеевича или даже завидует ему. К тому же Крюков — хозяин, законы гостеприимства обязывают быть особенно терпеливым и снисходительным по отношению к своему гостю. И хотя ему сейчас приходили на память случаи, когда его внимательность, радушие и уступчивость были, пожалуй, чрезмерными настолько, что лучше бы и не вспоминать о них, Крюков тем не менее не хотел ни в чем изменять принятого им тона. Солодков — гость, он, Крюков, — хозяин. При данных обстоятельствах ему иначе и нельзя поступать. Да собственно все шло так, будто и не зависело от его воли.

Настасья же Наумовна принимала все хорошие намерения Солодкова, ради которых он заводил разговоры, за простую развязность, а радушие и терпеливость мужа за непонятную для нее оскорбительную податливость, беспринципность. Она одна действительно ни в чем не изменила себе, держалась естественно, но была молчаливей, чем обычно.

— Отношения между руководителями должны быть принципиальными, — продолжал уже захмелевший Солодков, — и основываться на взаимном доверии. Мы ведем людей и потому сами должны сплотиться. Может быть, ты считаешь, что я опять не прав? Нет, я прав! Человек еще не успел приехать, не приступил к своим служебным обязанностям, а на кабинете уже вывеска: «Первый секретарь райкома Солодков П. А.», — Павел Алексеевич сделал движение рукой в воздухе, словно написал табличку заново. — Разве это правильно? А твой Брошкин — разве он не лебезит? Лебезит! И я это вижу! Но я опять не сделал никаких замечаний. Зачем сразу? А сделаю! Правильно это? Правильно! Я терпеть не могу никакого угодничества. Тут все дело в обстоятельствах, и надо их уметь различать...

Крюковы больше в разговор не вступали. Настасья Наумовна начала убирать со стола посуду.

\* \* \*

Воскресное утро выдалось сухое, солнечное. Снежные вершины, четко очерченные по всему горизонту, казались нарисованными то белой, то розовой, то синей краской с очень нежными и чистыми переходами от одного тона к другому. Местами голубые горы выглядели совсем прозрачными, и легко можно было представить себе, что сквозь них проглядывает далекое спокойное море.

В степи, недалеко от районного поселка, рано начали группироваться всадники, подходили грузовики с народом в пестрых национальных костюмах, в праздничных халатах, словно подвозили цветы, и, разгрузившись, спешно отправлялись за новыми. Вокруг дымились костры без пламени, ржали кони, гудели автомобильные сигналы, шумели ребятишки. Кое-где были наскоро разбиты походные юрты, разостланы по земле ковры местной ручной работы — сармаки. Степь становилась нарядной, бойко торговали буфеты. Появился кочующий фур-

гон — библиотека-читальня. Аймачный День пастуха походил на большой красочный восточный базар. Низко над головами людей ширяли орлы.

Крюков, Солодков и второй секретарь райкома Тудуев подъехали к месту праздника на «Победу». Навстречу им из толпы первый вынырнул Брошкин. Он указал шоферу, куда поставить машину, толково доложил обстановку — из каких колхозов, с каких стоянок сколько народу прибыло, сколько и откуда еще ожидается, какие машины отправлены во второй и в третий рейсы, при этом все время называл фамилии местных знаменитостей — пастухов, верблюдоводов, председателей колхозов.

«Незаменимый человек!» — подумал о нем Солодков и подал Брошкину руку.

Быстрый Тудуев исчез среди людей, лошадей и повозок, словно боялся что-то пропустить, кого-то не встретить, кому-то не пожать руку. Вокруг него образовалась толпа, вроде пчелиного роя вокруг матки, слышались взаимные приветствия, смех, и по движущейся плотной кучке некоторое время можно было следить, где находится и куда держит путь этот низкорослый, но пышущий здоровьем, удивительно энергичный алтаец.

Крюков и Солодков шли за Брошкиным к трибуне и так весело беседовали промеж собой, словно вчерашняя встреча за столом еще больше сблизила и подружила их.

Брошкин, видимо, уже успел многих оповестить о приезде нового секретаря райкома, и Павел Алексеевич не раз замечал на себе любопытствующие взгляды. С ним здоровались, но в разговор вступали пока только с Крюковым. Крюкова, должно быть, любили, как и Тудуева. Павла Алексеевича это не обижало. Более того, ему казалось, что было бы лучше для него вообще оставаться пока незамеченным, чтобы самому больше увидеть и понять.

Праздник начался с короткого обращения к алтайским животноводам, которое с дощатой трибуны от имени райкома партии и райисполкома прочитал Тудуев, то и дело прерывая чтение своими вставками на алтайском либо на казахском языках.

Потом в дело вступил сводный хор. Многих позабавило, что в составе хора находилась вся местная милиция в парадной форме, с кобурами на ремнях.

Настоящее оживление началось во время скачек. Наездники, молодые и старые, человек пятнадцать-двадцать, на низкорослых выдавших виды горных лошадаках с криками пустились по кругу в степь. Вряд ли здесь соблюдались какие-либо правила и установления ипподрома, да и скорость колхозных скакунов не показалась Павлу Алексеевичу внушительной, зато азарт болельщиков — а болельщиками были все присутствовавшие от мала до велика! — превосходил все его ожидания. Здесь было все — гиканье, оглушительный свист, крики одобрения и язвительный смех, приседания и пляска, все, кроме слез. Уже наездники стлались по степи далеко от старта, уменьшаясь с каждой минутой, вот они совсем скрылись в ложбинке, а подстегивание, одобрение и хула в публике не утихали и летели за ними вдогонку.

Павел Алексеевич подметил особую заинтересованность зрителей в успехе одного маленького наездника, за которым следили все неотступно. Об этой заинтересованности он впервые догадался по заметно возросшему шуму, когда вдали этот всадник обскакал впереди идущего коня и занял пятое место от головы цепочки, и по тому, как затем шум и крики начали усиливаться, когда он, набирая скорость, постепенно приблизился к хвосту следующего соперника.

Крики восторга превратились в сплошное ликование: ловкий лихой наездник одержал новую победу, оттер еще одного скакуна и стал третьим по счету. То, что за это время второй всадник занял место перво-

го, что многие другие сзади, меняясь местами, так же вели ожесточенную борьбу друг с другом, казалось, проходило почти незамеченным, но что третий начал напирать уже на второго, взбудоражило и Крюкова и Тудуева. Тудуев — тот просто визжал от восторга.

Пятнадцатикилометровый круг скачек замыкался вблизи трибуны, всадники стали приближаться к финишу, и тут Солодков разобрал наконец, что человек, находившийся в центре всенародного внимания, был глубоким стариком с седенькой клинообразной бородкой.

— Что за богатырь? — спросил он у Крюкова и в гуле и грое рукоплесканий еле расслышал ответ:

— Аксакал... Кунарбай... наш прославленный верблюдовод!

Вслед за этим до ушей Павла Алексеевича донесся высокий пронзительный торжествующий визг Кунарбая — тот стегал коня плеткой, атакуя последние сотни метров. И хотя большего он достичь не смог, к финишу пришел только третьим, ему были оказаны наивысшие почести. Десятки людей бросились к его коню, подняли старика с седла и на руках понесли к трибуне. Тудуев кинулся к нему навстречу, Крюков подал руку и, подтянув к себе, обнял его.

Кунарбай обхватил Крюкова, припал к нему доверчиво, словно ребенок, и, тяжело дыша, долго не мог говорить; по лицу и по жиденькой бородке его струился пот.

Он оказался низкорослым, худощавым, с кривыми ногами заядлого кавалериста, дедом — в полном смысле дедом: ему нельзя было дать меньше семидесяти лет.

Отдышавшись и заметив фотографов, Кунарбай распахнул свой меховой жакет и открыл на груди награды: ордена Ленина, «Знак Почета» и несколько медалей с замусоленными лентами. Это первое, что он сделал, очутившись на трибуне.

А люди не утихали, секретарь райкома комсомола Сарыева закричала «ура», и Кунарбай поднял над головой руку, потом приложил ее к сердцу, к орденам, снова поднял и привычно раскланялся.

Павел Алексеевич попросил Крюкова представить его аксакалу. Крюков вложил руку Солодкова в руку Кунарбая, сам встряхнул обе руки и сказал:

— Новый секретарь райкома партии. Прими, аксакал!

Кунарбай рассеянно взглянул на Солодкова, ответил одним словом: «Ага!» И сошел с трибуны.

Следующим по программе праздника состязанием были стрельбы из старинных шомпольных ружей — курлы. Тяжелые, длинноствольные, с росошками, ружья эти всем своим видом напоминали ручные пулеметы, а еще больше противотанковые ружья.

Из курлы алтайские охотники бьют сурков, используя их врожденное любопытство. Завидев в степи жирного, как поросенок, толстопузого сурка, охотник начинает приближаться к нему, размахивая каким-нибудь меховым лоскутом. Сурок замирает, смотрит; иногда, встревоженный, делает небольшую перебежку к норе, но любопытство берет верх, и он опять останавливается и следит за движением лоскутка. Охотник, подобравшись к сурку на расстояние выстрела, ложится на землю, не переставая помахивать флажком, устанавливает курлы на росошки и бьет сурка пулей в голову: так зверек не уйдет в нору, и шкурка не будет повреждена.

Стрельба из курлы требует немалой сноровки и навыка. Точное попадание в яблочко обязательно для уважающего себя человека.

Но самый большой интерес у Павла Алексеевича вызвала алтайская национальная борьба. Собственно, даже не сама борьба, а то, что при этом произошло, чему он стал свидетелем.

На травянистой площадке возилось сразу несколько пар. Бойцы, перегнувшись в пояснице, молчаливо старались утомить и перехитрить друг друга, делали всевозможные обманные движения. Порой они похрапы-

вали, словно лошади-тяжеловозы, когда тех заставляют тянуть непосильный воз.

Площадка для борьбы ничем не была ограждена. И возбужденная, вскрикивающая, галдящая толпа постепенно начала сужать кольцо во круг борющихся. Задние становились на цыпочки, беззлобно лезли на плечи передним. Никакие увещевания начальства, понятно, не могли помочь: кольцо наконец сжалось настолько, что борьбу пришлось прервать.

На помощь пришли хористы-милиционеры. Они очистили площадку, взяли за руки и так, живой цепью, стали сдерживать напор зрителей. Но силы у милиционеров хватило ненадолго. Достаточно было одному из борцов одержать решительную победу над своим противником, как милицейская цепь лопнула, и площадка для борьбы была снова захлестнута людской волной. На милиционеров же обрушился и гнев толпы: «Куда вы смотрели?», «Зачем вас тут поставили?» — кричали то с одной стороны, то с другой. А отказываться от продолжения состязаний никому не хотелось.

Тогда Крюков что-то шепнул Тудуеву. Тудуев бросился с трибуны в толпу разыскивать старика Кунарбая, нашел его и что-то шепнул ему на ухо. Кунарбай разглядил свою жиденькую бородку так, словно она была по крайней мере до пояса, и попросил дать ему шесть флажков. Флажки — маленькие, красные, те, что стояли вдоль маршрута скачек, — принесли. Кунарбай с флажками протиснулся на середину площадки, где минут пять назад происходила борьба, и что-то крикнул резко, повелительно. При этом на груди его покачивались ордена и медали. Все земляки Кунарбая мгновенно перестали шуметь и расступились. Что он крикнул и о чем говорил дальше, Солодков понять не мог, поэтому спрашивал Крюкова:

— Что он приказал?

— Просит аксакалов навести порядок и всем встать на свои места.

Крюков говорил об аксакале с любовью, как о своем родном отце.

Сам Кунарбай, не трогаясь с места и больше не повышая голоса, делал движения рукой от себя, словно отодвигал толпу, и толпа, как по мановению волшебной палочки, пятилась, свободный круг становился все шире и шире. Затем Кунарбай воткнул все шесть флажков по кругу, что-то сказал еще, и сам отступил за невидимую черту.

— Теперь что он сказал? — спросил Солодков.

— Сказал: стоять, не двигаться. Приказал уважать закон.

Отмеченной Кунарбаем черты не переступил ни один человек, и состязания по борьбе закончились при абсолютном порядке.

Все остальное, что было на празднике, не волновало Павла Алексеевича так, как взволновал предыдущий эпизод. Он продолжал думать о почтенном аксакале Кунарбае, о его мудрой власти, приобретенной, по-видимому, не только умом и долгой жизнью, но и повседневным трудом наряду со всеми и на виду у всех. Думал Павел Алексеевич и о своей будущей судьбе в этом интересном и своеобразном районе.

Поздно вечером в райкоме, когда все, утомленные праздником, разошлись по домам и лишь один Брошкин не покидал своего поста у кабинета первого секретаря, Солодков наедине спросил его:

— Ну, каково прошел, по-вашему, День пастуха?

У Брошкина от удовольствия засветились не только глаза, но даже усики.

— Хорошо, Павел Алексеевич. В обкоме будут довольны.

— А что это за аксакал?

— Кунарбай? Ему, Павел Алексеевич, уже семьдесят пять лет. Он тут самый старей, и человек, надо сказать, всеобъемлющий. К нему надо съездить, Павел Алексеевич. Если такому старику секретарь не понравится, то можно сказать, что долго ему не продержаться.

— Крюков не понравился?

Брошкин зашептал:

— Крюкова аксакал уважал, но тут особое дело, Павел Алексеевич, другая ситуация... Характер у Крюкова...

— Мда-а! А далеко до Кунарбая?

— Шофер дорогу знает, Павел Алексеевич. Дорога хорошая. Возьмите ружьишко с собой, я достану. Позабавитесь.

— Хорошо! — согласился Павел Алексеевич.

\* \* \*

Настасья Наумовна приготовила яичницу, накормила секретарей, и оба они заспешили в райком.

Но в райкоме, в кабинете, снова наступила неловкость: с чего же начинать рабочий день?

Крюков чувствовал себя уволенным и не мог спокойно садиться в свое старое руководящее кресло.

А Солодков не мог решиться принимать дела, потому что не имел еще на это формальных прав: принцип демократии все-таки надо было соблюсти.

Неловкость передалась всем работникам райкома, и хотя они понимали, что все уже решено без них, тем не менее не хотели ничем обидеть Крюкова, которого любили и уважали.

Посетители толклись в приемной, шептались и переходили к кабинету второго секретаря Тудуева.

Только Брошкин чувствовал себя уверенно. Для него существовал лишь один секретарь — Солодков, а с Крюковым он поздоровался — и все, и сразу словно бы перестал его замечать.

— Павел Алексеевич! — обращался он то и дело к Солодкову. — В Охотсоюз прибыли патроны для мелкокалиберных винтовок. Разрешите забронировать тысячу штук?

— Павел Алексеевич! Тут один председатель жалуется, что колхозники гонят самогон. Как прикажете поступить?

Солодков каждый раз взглядывал на Крюкова и отвечал Брошкину неохотно, смущенно.

— Требование на партбилеты должен подписать Николай Егорович... Самогон?.. А что ж самогон? При чем же тут райком партии?.. Сообщите в милицию, если арачку гнать нельзя. Закон для всех одинаков.

Крюков же при появлении Брошкина опускал глаза и умолкал. Непроста, наверное?..

Павел Алексеевич Солодков, служивший ранее инспектором райфинотдела, впервые попал на должность секретаря райкома партии в те памятные годы, когда умение повернуть кампанию и отрапортовать раньше других считалось чуть ли не главным качеством работника.

Кампаний было много: посевная, уборочная, налоговая, займовая, хлебозаготовительная, льнозаготовительная, мясозаготовительная, маслозаготовительная; кампании по сдаче молока, шерсти, пушнины, свиных шкур и так далее и тому подобное. Были ударные месячники, декадни, штурмовые недели, пятидневки, трехдневки.

Своевременно, без напоминаний выполнять все кампании считалось невозможным и рискованным: это могли расценить как бахвальство, либо очковтирательство, либо могли признать планы заниженными и резко увеличить их. Но в разное время года та или иная кампания становилась первоочередной, решающей, вот тогда-то и нужно было развернуться и показать свои организаторские способности.

Павел Алексеевич прославился в те годы умением не просто выполнить план — это еще не ставилось в особую заслугу. Он умел план пе-

ревыполнить и рапортовать, потом взять встречный план, опять пере-  
выполнить его и опять отрапортовать. Кроме того, он не просто выпол-  
нял план, а выполнял его во что бы то ни стало и напрягая  
все силы, что особенно хорошо звучало в донесениях всякого рода  
областных уполномоченных.

Началось с того, что Солодков сам был кустовым уполномоченным  
райкома и райисполкома в группе деревень по заготовкам яиц. Он так  
толково организовал дело, так убедительно доводил до сознания каждо-  
го двора, будто от поступления яиц зависит индустриализация страны  
и дальнейшее немедленное повышение благосостояния всех трудящих-  
ся, что женщины, молодые и старые, не дожидаясь, пока свои куры  
окажутся на высоте, бросали работу в колхозе и кидались в лес за гри-  
бами, за ягодами, чтобы затем в базарный день в районном центре за-  
купить или выменять необходимое количество яиц и расквитаться с обя-  
зательными поставками.

В другой раз Павел Алексеевич отличился на хлебозаготовках. Он  
в самом начале уборки мобилизовал в колхозе весь транспорт для пере-  
броски зерна за сто километров к железнодорожному разъезду и рань-  
ше всех отрапортовал райкому о выполнении первой колхозной запове-  
ди. И хотя сбор остального хлеба в колхозе был сорван, за что предсе-  
датель колхоза позднее попал под суд, а ссыпанное в вороха по сторо-  
нам железнодорожного полотна зерно лежало на голой земле до на-  
ступления зимы, оперативность Солодкова все же была отмечена в  
областной газете и его послали на прорыв в соседние колхозы.

Так как кампании шли одна за другой, Солодков почти перестал  
бывать на службе в райфинотделе, он колобком катался по всему рай-  
ону и редко терпел неудачи.

Выполняя и перевыполняя планы, Солодков особенно не обижал  
людей. Он действовал уговорами, умел вовремя пошутить, пустить по  
кругу пачку папирос, рассмешить веселым анекдотом, сослаться на  
международное положение и — добивался своего.

Когда область предложила кандидатуру Солодкова для начала на  
пост третьего секретаря райкома, коммунисты охотно проголосовали за  
него.

— Покатился наш колобок в гору! — сказали в райфинотделе, но  
это была их последняя шутка по адресу Павла Алексеевича.

Солодков не любил конфликтов вообще, а конфликты с начальст-  
вом, подобные тем, на которые иногда решался Крюков, считал просто  
недопустимыми. Бывали случаи, когда планы, поступавшие из области,  
оказывались почему-либо нереальными, не соответствующими конкрет-  
ной обстановке, но он не позволял себе критического отношения к ним.  
Он искренне верил в абсолютную непогрешимость всех вышестоящих  
начальников и всего, что шло сверху.

«Значит, иначе нельзя!» — говорил он себе и рассылал по дерев-  
ням весь свой аппарат, весь районный актив, сам ездил из колхоза в  
колхоз, чтобы успеть одним из первых отрапортовать от имени колхоз-  
ников и колхозниц о досрочном выполнении областного задания, даже  
если речь шла просто о сборе утильсырья или о закупке свиной щетины.

Как живет народ, во что обходятся ему встречные планы — об  
этом Павел Алексеевич почти не задумывался и, видимо, не считал это  
важным. По существу, он не заботился о завтрашнем дне государства,  
ему дорог был только сегодняшний день. В запущенные колхозы, где  
положение порой становилось тревожным, он просто переставал ездить,  
чтобы не подвергать себя неприятностям.

К тому же его довольно часто переводили из района в район, и в  
области он оставался на хорошем счету.

А в последнее время Павел Алексеевич стал все чаще поговаривать  
о развязывании творческой инициативы масс и «обсуждению не подле-  
жит» уже не всегда устраивало его.

Перемена в сознании Павла Алексеевича началась, когда ему был спущен план подъема целины, превысивший всю земельную площадь района. Если не доставало яиц, колхозы и колхозники прикупали их на базаре. Но где было взять недостающую тысячу гектаров земли? Озера и болота пахать нельзя. Павел Алексеевич распахан солончаки, пастбища и все-таки остался в тени.

Правда, это ему не было поставлено в вину, и когда потребовалось ликвидировать конфликт в районе, возглавлявшемся Крюковым, «на прорыв» опять послали Солодкова. Но после случая с целиной он все-таки начал задумываться.

Все, что рассказал Крюков о заготовке картофеля, о сенокосах, о снежном буряне, во время которого погибли тысячи овец, а директор самостоятельно не решился прийти колхозам на помощь, — все это Павел Алексеевич понимал так же, как Крюков, и сочувствовал Крюкову. Нелепости есть нелепости...

Но все-таки Крюков снят с работы. И Павел Алексеевич чувствовал, что при этих обстоятельствах не сможет действовать, как Крюков, не сможет.

\* \* \*

Прошел еще один день и еще один день, а никаких распоряжений относительно Крюкова из обкома партии не поступало. Не было почему-то указаний и о созыве внеочередного пленума райкома, на котором должны были состояться выборы нового секретаря.

«Не до нас, видно! — думал Павел Алексеевич и, чтобы не терять времени, решил пока съездить в гости к Кунарбаю. — Брошкин, конечно, не ошибается: этого старика надо сделать своей опорой в районе».

По совету Брошкина Солодков взял с собой пять пачек папирос «Беломорканал», перочинный нож, флакон «Тройного» одеколона, туалетное зеркальце и ружье. Ружье для себя, остальное для Кунарбая и его семьи в качестве подарков, на всякий случай. Райкомовский шофер, укладывая купленную мелочь в машину, улыбался во все свое широкое загорелое лицо.

— Ход конем. Правильно делаете, Павел Васильевич! — сказал он, причем было непонятно, одобряет он или не одобряет этот «ход конем».

— Ты что, шахматист? — засмеялся Солодков.

— Шахматист не шахматист... только Кунарбай тоже умеет в шахматы играть.

— А может, и правда ему шахматы купить?

— У него свои найдутся.

Когда уселись в машину, шофер спросил:

— А ружье зачем, Павел Алексеевич? Сейчас не сезон.

— Для кого не сезон, а... Да, впрочем, Брошкин подсказал.

— Брошкин хорошего не подскажет.

В пути Солодков расспрашивал шофера о Кунарбае, о его семье, запоминая все, что могло ему пригодиться.

Кунарбай — казах, по-русски говорит плохо, но многое понимает. Его язык — смесь казахского с алтайским. В колхозном бюджете Кунарбай — самая доходная статья. Он великий мастер по верблюдам, начисто ликвидировал падеж молодняка, кумыс делает лучший в районе. Да и вся семья его — верблюдоводы. А семья большая: жена имеет орден «Мать-героиня». Три сына погибли на фронте, один стал Героем Советского Союза, живет где-то по городам. Старик горюет, что прославленный сын-герой отстал от родного дома, от своего хозяйства. Работников в хозяйстве не хватает, а старик любит жить широко. По здешнему артельному уставу в личном пользовании разрешается иметь до ста пятидесяти голов разного скота — до десяти крупного рогатого, не считая молодняка, до восьми верблюдов, по нескольку лошадей, по нескольку десятков овец и коз... Правда, держат меньше, потому что

пасти некому, невыгодно — колхозы здесь в основном богатые и хорошо обеспечивают людей и мясом, и деньгами. Кунарбай — хозяин рачительный, неумолимый и фанатически честный в отношении к колхозному добру. Интересы колхоза для него выше любых личных выгод, поэтому он не раз бывал в Москве, в Кремле, на совещаниях передовиков сельского хозяйства, на Всесоюзной сельхозвыставке. Слава Кунарбая велика, авторитет среди земляков непререкаем. К нему едут за судом и за советом, вроде как в райком партии.

Солодков не торопил шофера. В степи для него все было новым, необычным, словно он попал в сказочное царство. За широкой, почти пересохшей рекой с очень каменистым руслом вдруг, словно мираж, возникли полуразрушенные глинобитные стены какого-то древнего кладбища кочевников.

Когда машина ГАЗ-69, которую за ее удивительную проходимость кое-где в шутку называют «проходимцем», пофыркивая и переваливаясь с одной каменной глыбы на другую, выползла наконец на высокий берег, Солодков попросил остановиться и ступил на скрежещущую землю. Стены кладбища оказались ему по грудь, местами они были развалены, и потому Солодков легко поднялся на одну из них, чтобы рассмотреть древние могилы сверху.

Кладбище напоминало остатки заброшенных скотных дворов или загонов. В каждом загоне сохранилось по несколько наполовину заваленных ям, поверх которых лежали полусгнившие деревянные брусья. Покойников, видимо, не засыпали землей и только сверху клали бревна, чтобы защитить трупы от зверей и хищных птиц. А быть может, могилы закрывались и досками?

И к какому веку все это относилось, когда все это было? Шофер ничего сказать не мог.

— Что было — то было! — единственное, что он произнес в ответ на многочисленные вопросы Павла Алексеевича.

Кое-где под стенами зияли дыры, вроде лисьих нор. Из одной такой дыры и впрямь выскочила рыжая облезлая лиса и закружилась среди развалин, как в лабиринте.

Ружье осталось в машине, и Солодков мог только пугать ее криками. Казалось, что лиса обезумела от страха и мечется от стены к стене без всякого толку, то уходя от него, то вновь появляясь на расстоянии выстрела.

— Давай ружье! — заорал Солодков шоферу, почувствовав, как у него от охотничьего азарта начинают дрожать руки и ноги.

Но вот лиса проскользнула под одной стеной, потом под другой, вынырнула вблизи него, совсем рядом, под ногами, прыгнула, завертелась клубком, и Солодков вздрогнул от жалобного детского плача и писка. Только теперь он понял, что все это время лиса не обращала на него никакого внимания, а занималась своим святым делом. Она гоняла зайца и поймала его.

Следя за лисой, Солодков ни разу не заметил ее жертвы, действительно перепуганной, действительно жалкой. Он прыгнул со стены и в упор встретился с глазами хищницы — маленькими, злыми, колючими. Трудно сказать, кого больше ошеломила неожиданная встреча — человека или зверя, только лиса не разжала челюстей, не выпустила зайца, а отскочила в сторону и понеслась с ним, длинноногим, мотающимся, теперь уже не петляя, а по прямой, за могильники, вдаль, в степь. Когда шофер с ружьем взобрался на стену, лиса уже скрылась за бугром.

— Видал? — спросил его Солодков.

— Что видал, Павел Алексеевич?

— Вот это, брат, взаимоотношения!



Поехали дальше. И чем дальше, тем удивительнее становилась степь, тем больше чудес встречалось по дороге.

Павел Алексеевич не выпускал ружья из рук. Вот вдали показался не то человек, не то каменный столб. Может быть, тоже какая-нибудь древность? Каменная баба?

— Что это за памятник? — спросил он у шофера.

— Гм! — обнажил тот свои белые зубы. — Просто орел на камне сидит.

— Тогда гони!

Шофер дал газу, и Солодков с близкого расстояния разрядил оба ствола. Орел, не повернув головы, спокойно снялся с камня и, величаво раскинув свои огромные крылья, полетел дальше.

— Плохо стреляете, Павел Алексеевич.

— Гони! — закричал Солодков.

Машина свернула с дороги и ринулась за орлом, а тот опустился на другую торчащую из земли глыбу и неторопливо сложил крылья. Солодков, дрожа от нетерпения, перезарядил ружье и снова выпалил по орлу дважды, опять почти в упор.

— Что за черт! — ахнул он, когда царь-птица, словно с пренебрежением к стрелку, словно не желая больше выносить его назойливости, взмыла в воздух и, кругами набрав высоту, удалилась в сторону гор.

— Дробь, что ли, мелка? — сказал Солодков, вылез из машины и подошел к камню, на котором сидел орел. — А кровь есть! — торжественно закричал он. — Кровь есть, и перья есть!

— Вы же его убили, — сказал шофер тихо, как говорят при покойнике. — Только орел не желает, чтобы его видели, как он будет падать.

Дом Кунарбая возник перед ними неожиданно. На зеленой лужайке около речки шофер затормозил и остановился перед многочисленным стадом верблюдов. Крыша невысокого дома, показавшегося за их спинами, походила на один из верблюжьих горбов.

— Добрались, Павел Алексеевич, — сказал шофер и устало откинулся на сиденье.

Солодков вылез из машины и огляделся. Справа от них, за речкой, стояла куполообразная юрта, напоминавшая издали небольшой планетарий. Верблюды стояли и лежали по обеим сторонам речки и вокруг юрты, вокруг дома. Никакого интереса к подошедшей машине они не проявили, только два-три, ближайšie к Солодкову, медленно повернули свои несуразные головы и, не переставая жевать, равнодушно сверху осмотрели его и отвернулись. Верблюжата то и дело помакивали хвостиками.

Стояла жара, стадо отдыхало.

Кунарбай появился не из дома, а из юрты в ватном стеганом халате, в меховой шапке, в мягких сапогах. Оживленный, бодрый, словно только что хорошо выспавшийся, он еще издали что-то приветливо закричал, ловко, с камушка на камушек, перебежал через речку и бросился к новому секретарю, кланяясь и повторяя одни и те же слова:

— Павел Алексеевич Солодков! Солодков Павел Алексеевич!

Солодков сначала пожал руку Кунарбаю, потом решил обнять его, вспомнив, как вчера на трибуне старика обнимал Крюков.

— Здоров ли, аксакал? Как здоровье семьи твоей, аксакал?

— Здоров, семья здоров, верблюды здоров! Солодков Павел Алексеевич, Павел Алексеевич Солодков...

Кунарбай повторял имя гостя, словно услышал его впервые и боялся его забыть. А глаза у старика — их Солодков разглядел лишь

сейчас — были еще оживленнее, чем он сам: шупающие, думающие, с огоньком. По-приятельски, как со старым знакомым, поздоровался Кунарбай и с шофером и показал рукой на свой дом, приглашая обоих.

Но Павел Алексеевич захотел сначала побывать в юрте, и аксакал повел их за речку, то и дело оборачиваясь и почтительно кланяясь. Обернулся он и на середине речки, когда стоял на торчавшем из воды камне, обернулся и протянул Солодкову руку. Солодков смущенно отказался от помощи, но при этом сделал неудачное движение и, потеряв равновесие, оступился в воду — а был он не в сапогах, а в ботинках. Шофер прыснул, а Кунарбай подхватил секретаря, почти поднял его на руки, потащил в юрту.

Юрта была пуста. Кунарбай, ахая и охая, заставил Солодкова сесть на ковер, сам сел рядом, стащил с него мокрые ботинки, стянул носки, откуда-то, кажется, прямо из-под ковра, достал новые шерстяные носки и напялил их на ноги Солодкова. Старик проделал все это с такой поспешностью, с таким напором, что Павел Алексеевич просто не успел воспротивиться.

— Какой же ты еще молодой, аксакал!

— Молодой, молодой, совсем молодой, — подтвердил он и показал на своды юрты: смотри, дескать, раз пришел смотреть.

Павел Алексеевич осматривался. Остов юрты был сделан из тонких деревянных планок, красиво и прочно стянутых веревками и ремнями, и ажурностью своей напоминал изящный бамбуковый каркас раскрытого китайского зонтика. По всей окружности юрты, на высоте, примерно, одного метра от пола, проходила резная деревянная панель. Сверху юрта была покрыта кошмами из верблюжьей шерсти, а на полу вокруг очага красовались разноцветные ковры-сармаки. У стенки с одной стороны возвышались топчаны для спанья, покрытые одеялами, с другой стояли два велосипеда, ружье — мултых, на полу лежали связки сурочьих шкурок, кожаный мешок, вроде кавказского бурдюка, наполненный чем-то, и разная хозяйственная утварь — хомуты, седелки, скребки для верблюдов.

Пока Солодков осматривался, Кунарбай внимательно следил за ним, словно ждал вопросов.

— Кто здесь спит, аксакал? — спросил гость.

Кунарбай не понял.

— Где лучше жить — в юрте или в доме?

Кунарбай опять не понял.

В стороне от очага, ближе к топчанам, стоял круглый низкий столик, но не было ни одного стула или скамейки. Над столиком висела электрическая лампочка без абажура — висела не на проводе, а на простой бечевке. Павел Алексеевич, улыбнувшись, показал на лампочку:

— Видно, ждешь не дождешься электричества?

И опять Кунарбай ничего не смог ответить. Выходило, что разговора с ним без переводчика не получится. Солодков поискал глазами шофера, надеясь, что тот сможет помочь, но шофер в юрту не заходил. Тогда он тронул рукой кожаный мешок и попытался задать еще один вопрос.

— Кумыс?

Кунарбай весело хихикнул и с полной готовностью ничего не скрывать от большого начальника сообщил:

— Арачка!

Павел Алексеевич арачку знал и пил: это самогон, который изготавливается, как и сырчик, из молока, — вонючий, как любой самогон. Он знал так же, что гнать арачку в известные периоды сельскохозяйственного года запрещается, запрещено и сейчас, поэтому откровенность Кунарбая принял как проявление высшего доверия к себе и был доволен.

— Любишь? — спросил он старика.

— Любишь? — как эхо, повторил за ним аксакал, то ли отвечающая вопросом на вопрос, то ли просто не понимая, о чем его спрашивают.

Затем Кунарбай встал и, указав рукой на выход, пригласил Солодкова перейти в дом:

— Милости прошу, Солодков Павел Алексеевич!

Дом, построенный знатному верблюдоводу колхозом, был обыкновенной бревенчатой сельской избой с крыльцом, с чуланами в сенях, с широкой русской печкой, разделявшей жилое помещение на две половины, но в убранстве избы многое напоминало юрту: такие же ковры на полу, такой же низкий круглый столик посередине и так же, как в юрте, ни одного стула, ни одной скамьи. Только вместо топчанов здесь стояли две металлические кровати с никелированными шарами, с богатыми постелями и большим количеством подушек в кружевных наволочках.

С потолка и здесь свисала электрическая лампочка, но не на бечевке, а на настоящем проводе.

Переднюю стену украшало небольшое зеркало, пестрели цветные плакаты военного периода: «Что ты сделал для фронта?», «Воин Красной Армии, защити!». И один плакат о дружбе великих народов. Наособицу висели фотографии в самодельных рамках — три солдата, очень похожие друг на друга («Погибшие сыновья!» — определил Солодков), сын-офицер со звездой Героя Советского Союза и цветной фотоснимок самого Кунарбая. Кроме того, на стене была приклеена вырезка из русской газеты — рисованный портрет Кунарбая и статья под ним: «Мастер социалистического животноводства». Под вырезкой на гвоздике болталась старинная подзорная труба — откуда она взялась тут и для чего она?

У порога с Солодковым и его шофером поздоровались сгорбленная худенькая старушка, жена Кунарбая, ростом еще ниже его, заробевшая невестка — вдова одного из погибших сыновей, и младшая дочь — девушка лет двадцати, с ясным прямым взглядом. Первые две, поздоровавшись, исчезли за печкой, а девушка осталась с отцом и с гостями. Она-то и стала для них переводчицей.

Солодков снова захотел спросить об электрических лампочках.

— Скоро свет будет?

— Света не будет. Просто отец купил лампочки и повесил. Вы же видите, что у нас даже проводки нет, — ответила девушка.

Кунарбай вопросительно взглянул на дочь, та что-то ему сказала, и Кунарбай закричал:

— Будет, будет! Совсем будет!

Старик, видимо, верил в это.

Солодков послал шофера за подарками. Кунарбай, казалось, очень обрадовался и папиросам, и ножу, и одеколону, позвал жену и все передал ей. Вручить карманное круглое зеркальце Павел Алексеевич не решился: очень уж оно выглядело дешевым.

— Где главный секретарь Крюков, почему он не приехал? — спросил Кунарбай.

Солодков растерялся, не зная, что отвечать. Неужели старик не понял, что главный секретарь сейчас он, Солодков, а не Крюков?

— Крюков занят, — сказал он наконец.

Дочь перевела. Кунарбай хмыкнул, засунул кончик седой бородки в рот, пожевал его.

Сели на ковер к столу, на котором невестка из-за печки начала носить пиалы. Появился соленый чай, кумыс в большом белом тазу.

Кунарбай и шофер привычно подогнули под себя ноги. Солодков попробовал сидеть так же, скрестив ноги, но скоро устал и лег на ковер на бок, вытянув ноги к стене.

За Кунарбая теперь хлопотали женщины, а он достал трубку, закурил и заговорил о том, что, видимо, его очень волновало. Дочь переводила.

— На скачках я занял не третье место. Я занял первое место. Я всегда занимал первое место и получал самую большую награду. Я не виноват, что занял третье место. Виноваты те, кто отводили круг. Они обманули Кунарбая, всех обманули, себя обманули. Надо было намерять пятнадцать километров, они намеряли только двенадцать километров. Круг был мал, и Кунарбай не виноват, что не успел разогнать коня. Они моего коня обманули!

Солодков, смеясь в душе, решил задобрить и поддержать старика. Так надо было при этих обстоятельствах. И он сказал:

— Ты прав, аксакал! Они ошиблись, я уже знаю об этом.

Кунарбай удивленно вскинул голову:

— Почему ты знаешь об этом? Крюков не знает. Только я один знаю об этом.

— То, что знаешь ты, аксакал, должен знать и я. Мы оба аксакалы, Кунарбай! — ответил Павел Алексеевич.

Старик, казалось, согласился с ним. Он отложил трубку и взял папиросу, предложенную гостем. Взяла папиросу и невестка, затаилась, закашлялась и ушла за печку: она никогда раньше не курила, но отказываться от угощения не положено.

Мужчины пили кумыс.

— Почему не приехал главный секретарь Крюков? — снова настойчиво стал допрашивать Кунарбай. — Он хороший начальник. Брошка — плохой начальник.

«Это о Брошкине», — догадался Солодков.

— Чем нехорош Брошкин?

— Он плохой начальник. Начальником должен быть добрый человек. Он стреляет сурков из машины и не подбирает их. Сурки гниют, никому пользы нет. Никому пользы нет...

При этих словах Солодков вспомнил о своей дорожной охоте, покосился на шофера, и ему стало не по себе.

— Так больше не будет, аксакал, — пообещал Солодков. — Если это правда, я сделаю, что так больше не будет.

Он повернулся на другой бок и, приняв новую пиалу с кумысом, попросил, чтобы все женщины сели за стол и пили и беседовали вместе с ними. Кунарбай, видимо, разрешил. Тогда выяснилось, что в доме аксакала не хватит для всех по пиале. Женщины не сели за стол; кроме дочери. Кунарбай начал горячиться:

— Я привожу пиалы из Москвы. Это нехорошо. Пиалы нужно продавать здесь. Я вожу из Москвы бархат, алтайцы любят бархат. Бархат должны продавать здесь. Крюков обещал это сделать. Почему он хочет уехать от нас? Живите оба: вы начальник, и он начальник.

Солодкову такой разговор перестал нравиться. Надо было отвлечь старика.

— Что же ты, аксакал, не угощаешь другого аксакала своей арачкой? — сказал он, придав своему упреку шутливый тон.

Но Кунарбай неожиданно насторожился.

— Закон запрещает арачку. Я уважаю наш закон.

«Что же это? — подумал Павел Алексеевич. — Разве старик перестал доверять мне?» И он заговорил еще более шутливо:

— Русские говорят: без бутылки не разберешься. Как может идти беседа без арачки?

— У меня нет арачки! — отрезал Кунарбай.

Солодков покосился на шофера, словно спрашивал его, можно ли продолжать настаивать, но шофер ничего не подсказал ему.

— Аксакал, у тебя же есть арачка в айле, в юрте.

Кунарбай легко поднялся, без раскачки, без наклона вперед, а

так, прямо вверх, как сидел, словно ноги его вдруг спружинили, и бросил два слова невестке. Та метнулась из дома в юрту, а он подошел к окну, откинул кружевную занавеску, взял подозрную трубку и вперился в степную даль дороги.

Солодков заподозрил, что Кунарбай кого-то ждет и боится постороннего глаза, поэтому успокоил его:

— Нам с тобой, аксакал, бояться некого, мы тут главные.

— Я никого не боюсь! — резко повернувшись от окна и глядя на дочь, а не на Солодкова, недобрительно ответил Кунарбай. — Я уважаю закон. Если аксакалы не будут хранить закон, кто будет хранить закон? — сказал он и снова, повернувшись к окну, приставил трубку к глазу.

Невестка вернулась с кожаным мешком, который Солодков видел в юрте, молча подошла к столу, к белому тазу с остатками кумыса, открыла горловину мешка, и в таз из него полился такой же кумыс.

Кунарбай даже не обернулся. Приветливость, с которой он встречал Солодкова, исчезла. Казалось, старик готов был изменить святым обычаям восточного гостеприимства.

Положение Павла Алексеевича становилось очень неловким и невыгодным. Он шепнул шоферу:

— Тащи скорей водку — в машине, в свертке, на заднем сиденье!

И только когда шофер принес бутылку водки, Солодков почувствовал себя увереннее.

— Дорогой аксакал! — обратился он торжественно. — Смени гнев на милость, сядь к столу и мы выпьем с тобой нашей русской арачки. Не обижай меня.

Девушка перевела. Кунарбай повесил трубку на гвоздь и сел к столу.

«Вот это да — ход конем!» — подумал шофер.

— Скачет! — сказал Кунарбай.

— Кто скачет?

— Мой сын скачет, коня бьет плеткой, к обеду спешит.

Выпив водки, Кунарбай опять повеселел, взял старенькую двухструнную домбру, настроил ее, играл и что-то пел высоким надтреснутым голосом, пел и смеялся.

Влетел парень, младший сын Кунарбая, настоящий второй Кунарбай, только без бороды и весь черный от солнца. Влетел, выпил предложенную ему стопку водки и зашумел, заговорил, заходил по избе, разгоряченный, потный, словно не на коне скакал, а сам бежал за конем по следу.

— Кунаргул, — с заметной гордостью назвал его отец. — Кунаргул, сын Кунарбая!

Пока гости прощались с хозяевами, Кунаргул ни разу не присел, не остановился, а все ходил и ходил, и казалось, что изба слишком тесна для этого питомца степей и гор.

Расставание Солодкова с Кунарбаем, благодаря выпитой бутылке водки, было таким же сердечным, как встреча. Старик и его женщины долго и почтительно кланялись секретарю, при этом аксакал опять повторял: «Павел Алексеевич Солодков! Солодков Павел Алексеевич!..»

Дочь Кунарбая, переводчица, и Кунаргул, его сын, пожали гостям руки.

Но Солодков был недоволен собой. Как же он осрамился с этой проклятой арачкой! «Кто будет хранить закон?» — звучал в его ушах упрек Кунарбая. Неужели не удалось наладить с ним хорошие отношения?! Неужели аксакал не принял его?

У машины, подавая в последний раз руку Павлу Алексеевичу через опущенное стекло, старик попросил:

— Скажи Крюкову, чтобы приехал ко мне. Я его буду ждать. Он хороший начальник. Живите оба здесь. И ты будешь хороший начальник...

\* \* \*

А в это время в квартире Крюкова состоялся другой разговор. Настасья Наумовна, наступая на мужа, требовала, чтобы он не сдавался. Крюков вначале пытался отшучиваться:

— Не горячись, Наумовна! Это не подлежит обсуждению.

— Не понимаю, Николай, что с тобой случилось? Не узнаю тебя.

— Ты еще не знаешь, что со мной случилось? — спросил в свою очередь Николай Егорович.

— Но как же ты можешь так спокойно покидать район? Ты же отступаешь, сдаешься.

Тогда Крюков заговорил серьезно:

— Мне тяжело уезжать отсюда. Я оставляю здесь часть своей души.

— А в чьих руках ты оставляешь часть своей души? Как ты понимаешь своего Солодкова? Не кажется ли тебе, что он — тот самый колбоб, который и от дедушки ушел, и от волка ушел? Он и от лисы уйдет. Его никто не съест. Он при любых обстоятельствах вывернется.

— Не горячись, Наумовна! — посуровел Николай Егорович. — По-моему, Солодков думать начал. Кроме того, здесь остается Тудуев и много других товарищей, которые будут заботиться не только о добрых взаимоотношениях друг с другом. Административные восторги — это вчерашний день нашей жизни. Партия раскусит и этот орешек. Не горячись, не все сразу...

\* \* \*

Павел Алексеевич вернулся от Кунарбая с какой-то смутной тревогой на душе. Болела голова: может быть, и верно — высота начала сказываться? Может быть, ему нельзя здесь оставаться по состоянию здоровья?

Тревога в душе Солодкова, как ни странно, даже усилилась, когда он узнал, что за время его отсутствия никаких перемен, ничего особенного в райкоме не произошло. Его встретил Тудуев. По-прежнему завертелся в ногах Брошкин. Крюкова не было видно.

— Николая Егоровича нет? — спросил он у Тудуева.

— Вероятно, он дома.

— Какие-нибудь распоряжения из обкома поступили?

— Ничего не поступало. Только позвонили из отдела кадров, просили передать, чтобы вы оба, и Николай Егорович, и вы, Павел Алексеевич, пока оставались здесь, чтобы никуда не выезжали.

— Вы сообщили об этом Николаю Егоровичу?

— Да, сообщил.

Брошкин доложил Павлу Алексеевичу, что им приняты все необходимые организационные меры для проведения внеочередного пленума райкома. Павел Алексеевич сказал «спасибо» и направился в кабинет первого секретаря, но, взявшись за ручку двери, опять увидел злополучную стеклянную табличку, обернулся и сорвал на Брошкине зло, скопившееся за день.

— Что-то вы, товарищ Брошкин, слишком предупредительны. Не надо стараться понравиться мне раньше времени. Ведите себя по-партийному!

Брошкин опешил, у него дернулись усики: неужели что-нибудь случилось, а он еще не успел узнать? Что значит: «раньше времени»?

В кабинете первого секретаря Солодков задержался недолго — просмотрел свежие газеты, постоял у карты района, закурил и направился к Тудуеву.

— Ну, как будем работать? — спросил он, входя в маленькую комнату, где сидел Тудуев.

Здесь также стоял письменный стол и так же под прямым углом к нему примыкал второй. Но комната была настолько мала, что к ней совершенно не подходило название — кабинет.

— О чем вы, Павел Алексеевич? — недоуменно уставился на него Тудуев, приподымаясь со стула, — в комнате этой даже кресла не было. — Садитесь, прошу вас!

Солодков сел на табуретку.

— Ну, как о чем?..

— Надо побывать, Павел Алексеевич, на строительстве межколхозной гидростанции. Может быть, вместе съездим?

— Давайте съездим, — согласился Солодков. — Лучше бы не сегодня.

— Можно и не сегодня. Но мне нужно срочно. Если удастся ликвидировать очередные заторы, то осенью и у нас в райкоме, во всем районном поселке электричество будет.

— А вы развязывайте инициативу масс, — посоветовал Солодков.

— На том и стоим, Павел Алексеевич. Все строительство держится на самостоятельности. Колхозники с гор спускали лес, на себе таскали камни. Николай Егорович помог им организовать производство кирпича, сам инспектировал. Когда-то он работал на кирпичном заводе, по образованию инженер-строитель. Но не все можно сделать самим. А сейчас банк вдруг, который уже раз, закрыл счета колхозов. Ссылаются на невыполнение планов монтажа. Съезжу разужнаю, что можно предпринять.

— Вот так и будем работать, — вздохнул Солодков. — Вы не знаете, что с Николаем Егоровичем решено?

— Наверно, как обычно: пошлют либо в другой район, либо на учебу, на курсы какие-нибудь.

— На курсы... это хорошо. Вот бы и мне... Климат у вас здесь, должно быть, трудный, что-то голова болит у меня...

Тудуев удивленно выпрямился, и в его черных ярких глазах заиграли веселые огоньки.

— Насчет инициативы, Павел Алексеевич. Спустили нам план по картофелю. А картофель здесь никогда не сажали, не растет он...

— Знаю. Николай Егорович говорил мне, — устало перебил его Солодков. — Придется, видно, покрывать пока мясом. Не помните, какое соотношение существует?

— Не помню.

— И пора начинать готовить землю.

— А как же планирование снизу? Как с творческой инициативой?

— Планирование снизу вещь хорошая, товарищ Тудуев, но самотек опасен. Нельзя его допускать ни в чем. В области есть свои планы. Когда план спущен — вот тогда и развертывай инициативу... в пределах плана.

Тудуев посмотрел на устало опущенные плечи Солодкова, на его поблекшие круглые щеки и сказал:

— Да, климат здесь трудный. Подолгу его не все выносят. К высоте привыкать надо.

Публикация З. К. Яшиной



Эркемен Матынович Палкин родился в 1934 году в с. Ело Горно-Алтайской автономной области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор многих поэтических и прозаических книг, вышедших на Алтае и в Москве. Член СП СССР. В настоящее время возглавляет Горно-Алтайскую писательскую организацию.

Эркемен ПАЛКИН

### ПИСЬМО ЛЕНИНУ

Мудрый Ленин, я — сын скотовода  
 Матына,  
 В новом веке рожден я, средь новых  
 людей,  
 Но еще по старинке мою пуловину  
 Перерезали ножницы старой Кюдей.

А еще до того на макушке у деда  
 Срезал кисточку темную старший  
 мой брат.  
 В этом тоже была, как считалось,  
 победа  
 Новой жизни, но дед был и рад,  
 и не рад.

Много лет он как будто стеснялся,  
 стыдился  
 И растерянно гладил макушку свою.  
 Это — помню, тогда уж на свет  
 я родился,  
 С той далекой поры я себя сознаю.

По рассказам я знаю, как старшего брата  
 Беляки расстреляли без всякой вины,  
 Как сестра сорвала навсегда,  
 без возврата  
 Чегедек — одеянье покорной жены.

Ну а лично запомнил я, как выходили  
 С красным флагом колхозники утром,  
 в туман,  
 И учились пахать, и картошку сажали  
 Там, где раньше росла лишь трава  
 балтырган.

Мудрый Ленин, народ мой, в века  
 поределый,  
 Ободрился, окреп и умножился вновь,  
 Он по жизни шагает упрямый и смелый,  
 В нем кипит молодая и свежая кровь.

Все заветы твои исполняем мы свято,  
 Мы умеем работать, умеем мечтать, —  
 Так вам пишет один из алтайцев,  
 когда-то  
 Не умевших писать, не умевших читать!

### КРАСАВИЦА

1

В этом ярком и праздничном зале,  
 В тесноте, где народу не счесть,  
 Так мне сердце и ум подсказали —  
 Несомненно красавица есть!

Как не быть! Пригляжусь — и найду я!  
 Вот, конечно же, это — она!  
 Нет сомнения: в пору ночную  
 Так меж звездами светит луна.

Смотрит женщина ясно и ровно  
 На подруг, на толпу, на меня.  
 Все в ней просто. Но соткана словно  
 Из огня, из живого огня!

У нее не подкрашены веки,  
 Нет претензий к прическе простой.  
 Но и в нашем, и в будущем веке  
 Вечно быть красоте — красотой.

На полянке лесной пламенея,  
 Все равны перед солнцем цветы,  
 Но всегда есть один — всех виднее,  
 Хоть немного, чуть-чуть, а виднее, —  
 Такова же, красавица, ты!

2

Критик мой подойдет, и привычно  
 Я поймаю упрек на лету:  
 Быть красавицей — разве типично!  
 И к тому же, не очень тактично,



Даже в чем-то недемократично  
Чересчур воспевать красоту!  
Легкий стан и сияние взгляда  
В суете повседневной людской  
Для души, безусловно, отрада,  
Но заслуги в том нет никакой.

Стой, пожалуй, с восторженным взором,  
Но в стихе промолчи все равно:  
Чем виновны другие, которым  
Этих статей, увы, не дано!

Обижать их никак не годится,  
Это, раньше сказали бы, грех:  
Есть на свете и синие птицы,  
Есть на свете и серые птицы —  
И одно только небо, для всех!

3

Но в ответ промолчать я смогу ли,  
Красоты неизменной пеец?  
Я припомню, как в чаше косули  
Бродят летом, ища солонеч.

И, конечно, сравнение это  
Мне сегодня пришло неспроста:  
В добром мире, исполненном света,  
Словно соль, нам нужна красота.

Без нее нам и радость не в радость,  
И поэт замолчит, как немой,  
И крылатый утратит крылатость...  
Без нее нет и жизни самой!

Смотрит женщина чисто и ясно,  
Но хочу догадаться уже:  
Так ли точно светло и прекрасно  
То, что в мыслях ее и в душе!

## ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Обыкновенной была:  
Смуглой была, круглолицей.  
Сказочной девушкой-птицей  
В пляске-игре не плыла.

Знала родную тайгу.  
Славно работать умела.

Песни любила, но пела  
Только со всеми, в кругу.

В жизни, на трудном пути  
Все ли сбылось, что мечталось!  
Смолоду вброд ей досталось  
Реку войны перейти.

Нет, под огнем не была.  
Сумку с крестом не носила.  
Просто — доила, косила,  
Милого с фронта ждала.

Не дождалась. И одна  
Двух малышей поднимала.  
Может быть, этого мало!  
Что ж на висках седина  
Плотно до срока легла,  
Словно серебряный мней!  
...Нет, не была героиней,  
Обыкновенной была.

Так вот и жизнь пронеслась:  
Просто и обыкновенно.  
Если сказать откровенно —  
Может быть, не удалась!

В двери — отчетливый стук.  
Это за дочерью — сваты.  
Словно бы в чем виновата,  
Молча заплакала вдруг.

Вот и осталась одна.  
Вот оно как происходит.  
В памяти снова проходят  
Юность, работа, война.

Вся уже стала бела.  
Редкие слезы роняет.  
Даже себя вспоминает  
Только в прошедшем: была.

Чем я утешить могу  
Ту, что работать умела,  
Песни любила, но пела  
Только со всеми, в кругу!

«Плакать не надо, — скажу. —  
Годы недаром промчались...»  
Нет, лучше с ней попечалюсь,  
Тихо, молчком посижу...

Перевод с алтайского Ильи Фоякова



Виктор Григорьевич Сапов родился в 1940 году в Волгоградской области. Закончил Уральский государственный университет. Рассказы публиковались в «Литературной России», в журналах «Молодая гвардия», «Уральский следопыт».

Журналист. Живет в Барнауле.

Виктор САПОВ

## СИТНЫЙ ХЛЕБ

РАССКАЗ

К Молчанову Касьяну приехали гости: сестра жены Клавдия с мужем и десятилетним сынишкой. Касьян бюллетенил, но от радости бюллетень побоку и устроил в честь родственников сабантуй.

Расположились в саду под яблоней. Стол ломился от яств, а хлебосольная Нюрка носила и носила новые блюда.

— Ой, сестрица, тут наш месячный запас! — пропищала Клавдия.

— Чем богаты, тем и рады! — ответила Нюрка. — Все свое, непокупное. Кушайте, гости дорогие, поправляйтесь, набирайтесь витаминчиков.

Клавдия жеманничала: вина не пьет, мясного не ест, одни овощи да фрукты. Или возьмет ломоть ситного хлеба и нюхает, нюхает, а откусить боится.

— Ну что ты все нюхашь? — проворчал немного захмелевший Касьян. — Ешь — не отравишься.

— Уж больно запашистый! — сказала Клавдия. — Помнишь, Нюр, как мы пышки из толченой колючки ели?

— Разве забудешь! — отозвалась Нюрка.

Хлеб и впрямь был пахучий. Нюрка сама пекла каравай. На поду. Разрезала его на дольки, разложила их на тарелке — получилось что-то вроде сказочного цветка. Ноздреватый мякиш «лепестков» так и манил.

— Ешь, сестрица! — повторила Нюрка. — Полнота не порок.

— Тебе что не говорить, — возразила Клавдия.

Хороша Нюрка. Троих ребят Касьяну подарила, а осталась тоненькой, как верба, легкой на подъем, в движениях быстрой — все так и горит в ее руках. Нисколько не изменилась. А Коська ее располнел — брюшко наметилось.

Касьян не заметил пристального взгляда Клавдии, предложил:

— Ну, гостечки дорогие, еще по маленькой! — и наполнил граненые рюмки.

Клавдия покривилась, спросила Нюрку шепотом: «Коська сильно пьет?» Нюрка усмехнулась: «Не без этого. Но меру знает». Заметив прислоненные к яблоне костыли, Клавдия посмотрела на Касьяна недоверчиво, догадалась: не иначе пьяный сломал ногу. Снова наклонилась к сестре: «Давеча забыла спросить: что это он костыляет?» — «Подвихнул ногу, думал пустяк, а пошел в больницу, говорят — трещина в ступне, — вздохнула Нюрка. — Вот и наложили гипс». — «Ноги его уже не носят! — поддела Клавдия. — Раскормила мужень-

ка, как на убой». — «Зачем на убой? — засмеялась Нюрка. — На любовь». — «То-то гляжу — четвертого налюбили», — и Клавдия шлепнула хозяйку по округлившемуся животу. «А ты догоняй, сестрица, пока не поздно!»

Клавдия пожалала плечами, ответила неопределенно, дескать, всей душой рада бы, да обстоятельства не позволяют.

— Это что ж за обстоятельства такие? — вмешался в разговор Касьян. — Вень, слышь, о чем воркуют?

Вениамин тоже навеселе, обнял Касьяна, ответил за Клавдию:

— За нами дело не станет.

— Деспот ты, Коська! — незло сказала Клавдия. — Жену закабалил и моего подбиваешь на подвиги. Хочешь превратить меня в дипломированную няньку. Не выйдет! — и Клавдия погрозила Вениамину.

Сестра у Нюрки умная. Окончила кооперативный техникум, теперь директор продмага. Вениамин — инженер-конструктор на комбайновом заводе. Вполне интеллигентная семья. Но живут по какой-то другой мерке, чем Касьян с Нюркой. Все вроде бы у них есть: Клавдия сама похвалялась — квартира хорошая, на заработок не жалуются, а детьми по всей видимости не хотят обременять себя. «Эх, интеллигентия! — заметил про себя Касьян. — Одного народили и с того глаз не спускают».

Мишенька — центр внимания родителей: то он не ест, другое ему нельзя. А Нюрка с Касьяном о своей детворе голову не ломали: уминают за обе щеки, только успевай подавать. Вадим уже большой — скоро в армию провожать, Иван с Сергеем тоже прут, как на дрожжах. В отца, рослые. В ладу живут ребятки. И братишку своего двоюродного быстро приняли в компанию, угощают наперебой.

— Мишенька! — Клавдия бросила строгий взгляд на сына. — Как бы чего не случилось?

— А что может случиться? — засмеялся Касьян. — Толще будет да здоровее. Правильно я говорю, Вень?

Касьян искал поддержки у свояка, но тот потупил взгляд, молчал.

Муж у Клавдии худой, щеки впалые. Тихоня. Поддакивает во всем жене. Касьян не позволил бы так помыкать собой. И молчать не любит, тем более в застолье. А чтобы беседа пошла веселее, снова предложил выпить.

— Ты у меня мужика не спаивай! — возразила Клавдия.

— А ты не командуй! Тут я хозяин... Как, Вень?

— За нами дело не станет! — кивнул свояк.

— Вот и хорошо. Пропустим еще по одной. Пусть они тут покалякают, а я тебе сад покажу. Заодно проветримся.

\* \* \*

Касьян гордился своим садом. Нелегко он ему достался. Можно сказать, кровью и потом. Пришел он из армии и сразу женился, а жить негде. Перезимовали в тещиной халупе, а летом решил свое гнездо свить. Облюбовал местечко, которое почему-то все стороной обходили, — Илюшин сад. Как такового сада там уже не было. Его вырубili еще в войну, и на том месте лишь кое-где торчали редкие побеги яблони и вишни, да и те козы пообкусывали.

Хозяев поместья мало кто помнил на селе. Их раскулачили еще в двадцатые годы. А о саде ходила молва, будто землю для него завозили с лугов. Похоже, что так оно и было. Касьян еще в ребятишках бегал сюда собирать клубнику. А откуда ей в степи появиться, как не из лесу. Решил удостовериться, копнул прошитую корешками трав подстилку, а под ней крупитчатый чернозем. «Не гоже такому добру пропадать!» — подумал он и стал раскорчевывать участок.

— И что за неволя такая? — отговаривали его мужики. — Мало тебе другой земли?

— А я, братцы, решил навсегда покончить с наследием прошлого! — отшучивался Касьян. — С корнем его вырву.

— Гляди, пуп не надорви!

Целое лето корчевали Касьян с Нюркой пни, выворачивали из земли яблоневые корни. Осенью вспахали, а весной принялись разделять землю: разбивали комья мотыгами, боронили, выбирая «махнушки», снова вспахали. Небольшой участок заняли картошкой, а остальную площадь отвели под сад. Насаждали фруктовых деревьев, а по краям вишню, крыжовник, смородину, малину. Разбили грядки под овощи, викторию.

— Богатый сад! — не скрывал своего восхищения Вениамин. — И большой доход приносит?

— Ха, доход! — усмехнулся Касьян. — С моей-то оравой! Закручиваем в банки: круглый год с фруктами и вареньем. Тут все: и кисели, и закусок мировой. Эх, пораньше бы ты приехал, я б тебя мочеными яблоками и терном угостил.

— А ты, дружище, диверсант! — неожиданно заключил Вениамин.

Касьян от растерянности даже смолк, уставил на свояка недоуменный взгляд, спросил:

— Это почто же так?

— О, ты Клавку мою не знаешь, — улыбнулся Вениамин. — Она давно подбивает меня на дачу, а я профан в этом деле. Последний раз кое-как отбойрился. А теперь попробуй отговорись. Вконец запилит, припрет к стенке, скажет: «Касьян, значит, может, а ты нет?» Вот я и говорю: сад твой — прямой подкоп под мой хлипкий авторитет.

Касьян рассмеялся, отметил про себя: «А свояк-то ничего, веселый парень». И стал расспрашивать гостя о житье-бытье. Узнав, что Вениамин сам из деревни, еще больше заинтересовался им.

— И давно переехал?

— Пацаненком в войну. Я ведь детдомовец. Как немец попер, нас и эвакуировали с Украины в Сибирь.

— Поди, тянет в родные края?

— Как тебе сказать. Село свое знаю только по паспорту. А в деревню вообще-то тянет. Хотя здешней жизни толком не представляю.

— Было б желание — быстро освоишься. А у тебя оно есть. Вот и переезжай.

— Куда?

— Да хотя б к нам.

— И что я тут буду делать?

— Фи-и-и! Что делать? Ты же инженер. Да такие спецы нам позарез нужны. Квартиру дадут. Сад я тебе помогу заложить. И никакой тебе дачи не надо. Ну как?

— Треба обмозговаты.

— А чего долго чикаться? Материально не проиграешь. Ты скоко получаешь?

— Двести рублей зарплата. Плюс пятнадцать процентов сибирских.

— Значит, средний заработок механизатора.

— А у тебя больше выходит?

— Меньше трех сотен не бывает.

— О, да ты стахановец.

— Есть маленько. Машиной даже премирован.

О премии Касьян сказал с гордостью и тайной мыслью. Ему вдруг захотелось заполучить согласие свояка на переезд, а в этом деле важен не только моральный стимул.

Больше всего хотелось Нюрке перетянуть сестру из города. С некоторых пор в ней заговорили родственные чувства, и она буквально

в каждом письме приглашала Клавдию в деревню. «Уж больно далеко ты забралась, сестрица, — писала она в последний раз. — Хоть бы поближе куда переехала, чтоб можно было почаще встречаться. Приезжай, Клавушка, соскучилась я. Тут и обговорим все».

Когда Нюрка прочитала вслух написанное, Касьян гмыкнул: «Так она и поехала!» Он слишком хорошо знал Клавдию-студентку. Пока жива была мать, она частенько домой навевалась. Стипендия невелика, а у матери огородишко, хотя и небольшой, но хорошо родил. Да и они с Нюркой входили в положение Клавдии, чем могли подсобляли.

«Учись как следует, — твердила Нюрка. — Мне не довелось, хоть ты выйдешь в люди».

Уезжала Клавдия из дому всякий раз не с пустыми руками. Сгибаясь под тяжестью сумки с продуктами, говорила:

— Век вас не забуду. Вот кончу учиться, сполна рассчитаюсь.

— И не стыдно тебе говорить такое! — перебивала ее Нюрка. — Ну какие могут быть у нас счеты? Мы же не чужие. Ты учись да поскорее домой возвращайся.

Клавдия кивала головой, мол, из деревни она никуда. Перед самым выпуском попросила Нюрку взять нужную справку от колхоза, чтобы получить распределение в родное село. «А то ушли к черту на кулички!» — писала она. Послали ей такой документ, а вскоре приходит письмо из Красноярска: вышла замуж.

Нюрка легко и быстро простила сестре ее выходку. В конце концов, рассуждала она, вольному воля, главное, чтоб счастье было. А оно, судя по Клавкиным письмам, переливалось у нее через край. «Удачное замужество, место в продмаге, — иронизировал Касьян. — Как мало надо человеку?» Не нравилось ему отчуждение Клавдии. Писала она редко и коротко, мол, живы-здоровы, чего и вам желаем. Вроде бы и знаясь не хотела. Не раз проезжала мимо на курорты, могла бы заехать на денек-другой, но где там — проскочит и весточки не даст. Да и сейчас долго не намерена задерживаться. Не успела упаковать чемоданы, как уже заявила: «Мы ненадолго к вам. С недельку побудем и в Москву поедем».

«В Москву — разогнать тоску! — связил Касьян в Клавкин адрес. — Торопыга!» Разве с такой сварись пиво? Иное дело Вениамин. Мужик свойский, податливый. В деревню тянет — это хорошо. Вот и надо через него действовать. «Что ж, зачин сделан, — подытожил Касьян, — а там видно будет».

\* \* \*

Мужчины вернулись к столу. Сестры сидели напротив, о чем-то оживленно разговаривали. Касьян предложил было Вениамину снова присесть да налить по маленькой, но Клавдия вскочила, запротестовала:

— Мы с дороги. Устали. Спать-спать. — И она потащила Вениамина в избу.

— Ну и ведьма! — сказал Касьян жене. — И в кого она у вас такая уродилась?

— В себя! — усмехнулась Нюрка и стала собирать со стола.

— И до чего вы договорились? — спросил Касьян.

— Ни до чего! — качнула головой Нюрка. — И слышать не хочет о переезде.

— А свояк, кажись, не прочь перебраться.

— Добруша он. Из него хоть веревки вей. Ты б лучше с Клавкой поговорил.

— Поговоришь с ней, змеей подкольной.

Касьян встал и закостылял за куравом в дом. Все уже улеглись. Он не стал зажигать свет в коридоре, ступал осторожно, чтобы не

скрипнула невзначай половица, и вдруг замер, услышав шепот за перегородкой:

— Вень, а Вень, уж больно хорошо живет Коська. Домина такой, машина, хозяйство. Это какие же деньги нужно иметь. Не верится, чтоб на свои...

— Не пойму я тебя, Клавдя, — слышалось в ответ. — В каждом доме тебе жулики мерещатся. Касьян мировой парень. Чемпион района. Заработок у него побольше нашего с тобой. Нравится мне тут. Люди они простые, открытые, душевные. А воздух — дышишь не надышишься. Может, переедем, Клав? Я б инженером пошел в колхоз.

— Колхозник мне выискался. Спяну мелешь. Спи!

Касьян не стал больше слушать, вышел на простор. Горькое чувство овладело им. Ну за каким чертом должен он вмешиваться в чужую семью? Живут они в городе, как кроты, ну и пусть себе живут на здоровье. Мало ли у него своих забот? «Тоже мне попечитель!» — усмехался над собой Касьян. И он решил сказать Нюрке, чтоб она выкинула из головы эту блажь. Ну зачем тянуть Клавдию в село, если она совершенно не приспособлена к здешней жизни? Какой из нее тут прок? В доярки ее не пошлешь, а в продавцы сама не пойдет — подавай ей директорское кресло. Да и как она тут жить будет, если даже в нем, Касьяне, жулика узрела?

Накипело на душе Касьяна, однако Нюрке он ничего не стал говорить, только попросил, чтоб она постелила ему в саду. Спать в доме не хотелось.

— Чтой-то вздумал? — удивилась она.

— Душно, — соврал Касьян.

— Гляди, ливанет ночью дождичек.

— А-а, божья роса.

Нюрка постелила ему на столе, где только что пировали. Касьян улегся, но долго не мог заснуть под впечатлением нечаянно подслушанного разговора. Лежал, как под шатром, — так низко прогнулись под тяжестью плодов ветви яблони. Потом горечь потихоньку отступила. Он стал думать о саде. Не очень-то надеялся на него, а он вон какой вымахал. Касьян прислушался к нежному трепету листьев. «Тле-е-ень!» Яблоко, сорвавшись с верхушки, звучно ударилось оземь. «Спелое!» — определил он.

Стояли последние дни августа. Надо снимать плодовый урожай. С этой мыслью Касьян и заснул.

\* \* \*

Гости в доме — забота немалая. Тем более когда они из города. Село им видится в ином цвете, чем оно есть. А вот в каком, это уж от настроения человека зависит. Вениамин, как дальтоник: ему все одинаково хорошо. «Технически вы тут здорово подкованы. Прогресс!» — повторял он. А Клавдия себе на уме, помалкивала, не спешила высказывать свое мнение. Лишь однажды обронила: «Ну и что тут такого. Деревня, она и есть деревня».

«Ох и довыкобениваешься ты у меня!» — подумал Касьян. Он давно бы высказал Клавдии все, что думал о ней, да Нюрка строго-настрого приказала молчать ради приличия. А в общем стоило бы ей врезать. Строит из себя принцессу. Ишь ты, из грязи да в князи. Люди тут целые города кормят, а ей то не так, другое не эдак. Забыла уже, какого рода у племени. «Можем и напомнить!» — вскипал Касьян.

По мелочам придиралась Клавка. Вот заехали они в магазин. Товаров на прилавках завались, а выбора никакого. Зато туфли на платформе в свободной продаже, что особенно удивило Клавдию. Почмокала она губами, но опять же на свой лад повернула. Видите ль, решила: поздновато сюда мода приходит. А мода — это показатель куль-

туры. А какой там поздно, когда вся женская половина села давным-давно щеголяет в таких туфельках, если их можно так называть. Это же ноголомы какие-то, каждый по пуду весом. А свободная продажа объясняется просто: завезли товар с избытком. Но разве втолкуешь это Клавдии? «Мода — показатель культуры!» — передразнивал Касьян, лихо закручивая баранку на поворотах.

— Живете вы тут, конечно, как куркули! — бубнила Клавдия над самым ухом Касьяна. — Дома с иголки. У каждого сберкнижка. А вот радости и веселья не чувствуется. Раньше такие гулянья были! Помнишь луга?

— Отошли луга! — бросил через плечо Касьян. — Но клуб работает исправно. Самодеятельность наша опять на конкурсе завоевала призовое место.

— Самодеятельность, конкурсы... Это все запрограммировано, — перебила Клавдия. — А я совсем другое имею в виду. Чем хороши были луга? Народ там веселился естественно и просто. Непосредственности — вот чего не хватает современной деревне.

— Можно подумать, что у тебя ее с избытком! — съязвил Касьян и победно глянул в зеркальце, что справа над головой. Увидел, как Клавдия закрутила круглой мордашкой, отметил про себя: «Знай наших». А чего ему с ней чикаться? Она его шпыняет, а ему, значит, нельзя. Дудки!

— Злой ты, Касьян! — осердилась Клавдия. Касьян промолчал, а немного погодя предложил:

— Ну как, съездим на луга?

— Можно, — согласилась Клавдия.

«Жигули» свернули с грейдера, пересекли мосточек через речку и выскочили на луг.

— Давай с ветерком! — закричала Клавдия, высовываясь в окно.

Касьян поддал «газу» — встречные струи горячего воздуха взвихрили волосы, обожгли лицо, выжали слезу, другую. Вениамин покопился на жену, не зная, то ли она дурачится, то ли нарочно высунулась, чтобы не заметили, как плачет.

Клавдия взаправду плакала. Плакала и смеялась, радуясь встрече с родными местами. Это она только внешне пыталась казаться равнодушной, а в душе ее все кипело и бурлило. Она давно поняла, что совершила непоправимую ошибку, уехав в город. Первое обошлось им прошло быстро. И теперь все ей там казалось чужим и далеким. Даже домашний уют, который она создавала своими руками, не скрадывал этого чувства. Наоборот, с годами ее все больше тянуло на родину, к той жизни, которой она безрассудно пренебрегла. И поэтому не ради моды, а скорее всего для самоутешения появилось желание купить дачу. Только вряд ли спасет она ее. В последнее время Клавдия совсем потеряла покой и сон. Это наваждение какое-то: закроет глаза и сразу мерещится ей материн дом. А тут еще Нюркины письма... Вкопец разбередали душу.

Между тем встречный ветер высушил слезы. Справившись с внезапно нахлынувшими чувствами, Клавдия заставила себя через силу улыбнуться. Больше всего ей не хотелось, чтобы слезы видел ее муж. Нашупай он слабинку в ее сердце, давно бы бросил и квартиру, и работу. Ни с чем не посчитался бы Вениамин, лишь бы ей хорошо было. Сам он не держится за город. Тянет его на простор. Уж сколько раз заводил разговор о перемене места. «Мне все равно куда, — говорил он. — Лишь бы в село».

Настырный, дьявол. В этот раз она уже договорилась насчет путевок к морю, а он наотрез отказался. «К Коське и — никаких гвоздей!» А она, честно говоря, побаивалась этой поездки. Не очень-то надеялась на себя...

— Тпру-у-у! — затормозил Касьян возле рощи. Клавдия сразу

узнала заветное место. В пору ее юности здесь проводились массовые гулянья. Обычно это было в майские дни, вскоре после того, как сойдет с лугов полая вода. Поднимется трава, распустятся колокольчики, лес оденется в зеленый убор. Все цветет и благоухает. Незабываемая пора. Соберутся, бывало, в круг, а кто-нибудь обязательно спросит: «А Коська с двойняшками тут?» — «Да туточки я!» — засмеется Касьян, телью ходивший за неразлучными сестрами. «Ну что ты в нем наша такого?» — пыталась поддеть сестру Клавдия. «А ничо! — смеялась Нюрка. — У него плечи — во! Есть на что опереться».

Ухаживания Касьяна выглядели буднично, и Клавдии даже не верилось, что из этого может получиться что-то путное. Не верилось еще и потому, что Касьяну предстояла служба в армии. А вот поженились. Целых четыре года ждала Нюрка своего морячка. «Счастливые, черти!» — с завистью подумала Клавдия. Сама-то она даже не знает, была ли когда-нибудь по-настоящему счастлива. Хотя — почему же?

Была у Клавдии первая любовь — Ваня Затонский. Красивый парень. Целый год они дружили. А потом его призвали в армию вместе с Касьяном. Но Нюрка дождалась своего суженого, а Клавдия уехала учиться. От парней не было отбоя. Они щеголяли в модных костюмах, и Ваня, ходивший на свидание в кирзовых сапогах, отошел на задний план. Да он и не больно убивался: женился вскоре на приезжей учительнице и уехал с молодой женой на большую стройку. И где он сейчас, Клавдия не знает. А вспоминает его часто. Даже слишком часто.

«Что прошло, того уж не вернешь», — подумала Клавдия. Она не заметила, как осталась одна у машины. Вениамин «аукал» в лесу, Касьян отзывался с окрайки. И эти «ау» больно отзывались в ее сердце. Вдруг почудилось ей, что не муж кричит, а Ваня Затонский. Вот выйдет он сейчас с букетом ландышей, улыбнется светло и приветливо, и пойдут они лугом на виду у всех. Клавдия аж зажмурилась и устыдилась своей мысли. Придет же такое в голову. Ну чего ей не хватает? Муж как муж: заботливый, славный, и сын добрым хлопчиком растет. И все-таки чего-то недостает. Чего же? Может, той самой простоты и непосредственности, за что упрекал ее Касьян? Возможно. Только разве теперь себя переиначишь?

Клавдия задумчиво посмотрела окрест. Скошенные луга, конечно, не так были красивы, как по весне. Сено убрано. Вот-вот сожнут хлеба в поле, лес покроется позолотой, и наступят холода. А они скоро наступят. Вон как засуетились над лесом сороки, покидая насиженные места; и хотя путь их недолог — до ближнего селения, все равно — верная примета осени. А там другой пейзаж, другие краски.

\* \* \*

То, что Касьян бюллетенил, было опять-таки на руку гостям. Только успевали заправлять «Жигули». Съездили в райцентр, объехали окрестные деревни, побывали в поле, на ферме. У Вениамина понемногу сложилось представление о современной деревне. Кое-что, видимо, приоткрылось и Клавдии: она стала не такой нудилой, как раньше, а может быть, Касьян притерпелся. Во всяком случае если и досаждала, то просьбами: «Свози...» И Касьян безотказно катал родственников, не ведая устал.

Когда все достопримечательности были осмотрены, Клавдия сказала:

— Все, Коська. Свози меня теперь к матушке на могилку. И больше я с тобой не ездук.

— И правда, свози нас! — поддержала Нюрка. — А то я с родительского дня не была там.

Клавдия покосилась на сестру, нет ли в ее словах подвоха: с родительского дня не так уж много времени прошло, а вот она с похорон не



была. Клавдия вспомнила последнюю встречу с матерью и запечалилась.

Встреча была не очень ласковой. Перейдя на последний курс, Клавдия не поехала на каникулы, как прежде. Сначала она была на производственной практике, а потом ушла по туристической путевке. Заехала домой перед началом занятий, загорелая, стройная, в брючном костюме, на шее побрякушки разные. Посмотрела на нее мать и говорит:

— Ты учись, да не заучивайся! Совсем от дому отбилась. Хоть бы картошку помогла выкопать.

— Мне, значит, и отдохнуть нельзя? — скривилась Клавдия. Ты думаешь, учиться это так себе — бить баклуши? Я тоже за год устала.

— А я не устала? Я, доченька, всю жизнь без отпусков. А Нюрке с Коськой, думаешь, легко? У них свой сад-огород, а что ни день — бегут подсобить.

— Никто тебя не заставляет держать огород, — рассудила Клавдия. — Ты у них вон бесплатно с внуками нянчишься. Как-нибудь уж прокормят. А я плохой тебе помощник. Не возилась в навозе!

— Вон ты как запела! — осердилась мать.

— Ругай не ругай, а домой не вернусь, — Клавдия вскинула гордо голову.

Вскоре после этого разговора Клавдия уехала. И не знает, поведала ли о нем мать Нюрке или нет. Похоже, что нет. Через неделю получила она телеграмму, извещавшую о смерти матушки. Приехав на похороны, замкнулась в себе, лицо почернело от переживаний: с минуты на минуту ожидала упреков от родственников. Но никто не сказал ей худого слова, сочувствовали, мать жалели. «Это надо же, — говорили люди, — из последней копейки выбивалась Митриевна, а дочь тянула».

По молодости Клавдия пропустила этот упрек мимо ушей, но с годами ее стала мучить совесть. Еще и потому, что недолго она горевала о матушке. Возвращалась как-то с занятий, догнал ее парень: «Девушка, познакомимся!» Познакомились ради шутки, а вышло всерьез. Это был Вениамин. Он находился в командировке. Зашел за ней раз, другой. Потом завязалась переписка. А перед самыми экзаменами Вениамин прилетел из Красноярска и сказал: «Я за тобой приехал!» Чудной какой-то. Взял отпуск, чтобы жениться. За ней, конечно, ухаживали и посимпатичнее парни, но ни один из них еще не сделал предложения. А распределение на носу. «Чем ехать опять в деревню, — решила Клавдия, — лучше выйти замуж».

...Повезло ей с мужем: чуткий, обходительный. Любит ее крепко, во всем оберегает. Вот и сейчас. Вышли они из машины, а он тут как тут, взял под руку, озбочен: на Клавдии лица нет. Зашли на кладбище. Клавдия уже забыла, где схоронили мать. Столько лет прошло. Шли за Нюркой, петляя между оградами. Нашли наконец. Нюрка открыла калитку и стала пропалывать траву. Следом вошла Клавдия, нагнулась и, ойкнув, опустилась на колени, забила головой о курган, зарыдала:

— Матушка моя родная, слышишь меня? Прости меня, миленькая. Прости и помилуй!

— Клавдишка! — вырвался крик у Нюрки. Она бросилась к сестре, обняла ее за плечи и тоже заголосила.

Вениамин с Касьяном замерли, не зная, что и делать. Потом уж Касьян сообразил. Он оторвал Нюрку от Клавдии, вывел ее за ограду, сказал:

— Ты-то хоть не трави душу!

Вениамин тем временем уговаривал жену. Наревелась досыта, поднялась и, пошатываясь, пошла к машине.

— Все, сестренка! — сказала вдруг Клавдия. — Вернемся домой, соберем пожитки и приедем. Живу я там, как гостья. Все мне опосты-

лело. Куда ни пойдешь — толчея. Суматошная жизнь. Меня там астма мучает. А тут легко дышится.

— Вот и хорошо, Клавушка, — Нюрка бросилась сестре на шею. — Давно бы так. Поживете сначала у нас, а там свой угол займете.

Касьян с Вениамином переглянулись. Вот и пойми их, баб: только что голосили, аж мороз по коже, а сейчас хоть запевай. Сели в машину и покатали домой. В пути договорились: пока женщины будут обед настраивать, мужчины съездят в одно место по неотложному делу, Клавдия встретила было предложение в штыки:

— Знаю я ваши дела! Опять за пол-литрой?

— Как в воду глядела! — не стал ее разуверивать Касьян.

Главное было выбить у Клавдии согласие на переезд, а как дальше поступить — его, Касьяна, забота. Оставалось переговорить с колхозным начальством о жилье, о работе. И поэтому они держали путь вовсе не в магазин, который имела в виду Клавдия, а в правление, к самому товарищу Макушину Алексею Ивановичу.

\* \* \*

Председателя на месте не оказалось. Разве будет он рассиживаться в такое горячее время в своем рабочем кабинете? С утра укатил по полям. Но Касьяну повезло. Макушин только что разговаривал по рации с диспетчером: на току он. Сели они с Вениамином на «Жигули» и подались в поле. Светло-серую «Волгу» Алексея Ивановича настигли по пути на склад. Касьян лихо обошел ее и остановился. Остановился и Макушин.

— Привет колченогому! — усмехнулся он. — Ничего себе болящий! Трактор на прикол, а сам раскатывает. Как метеор!

— Через пару деньков включусь в работу! — сообщил Касьян, слегка притопывая больной ногой. Утром ему сняли гипс, но врач не разрешил давать ноге большую нагрузку. «Разрабатывай!» Вот он и разрабатывает.

— Нашел время ломать ногу! — сказал Макушин и пошутил: — Приударил, поди, за какой-нибудь молодкой, а Нюрка возьми да и подставь подножку. А? Выходи да поскорее. Сам знаешь: лишних рук в хозяйстве нет. Заменять тебя некому. А зяби много. Придется на-верстывать.

— Наверстаем, Алексей Иванович! — заверил Касьян и стал выкладывать свою просьбу: — Дело у меня к вам. Вот свояк завтра уезжает.

— Меду, поди, выписать?

— Да нет. Насчет работы. — И Касьян рассказал.

Вениамин вышел из машины, представился. Макушин пригладил белую чупрыну, внимательно посмотрел на Коськиного свояка.

— Говоришь, инженер-конструктор? С комбайнового? Вот ты мне где попался, голубчик! Давно собираюсь написать вам на завод. Что же это вы стряпаете машины с изъяном?

— Чем же это плох наш «Сибиряк»? — удивился Вениамин.

— Всем хороша машина, — сказал Макушин. — Да вот зерно сеет, как из решета. Большие потери. Двадцать точек утечек. Снови гермитизируем.

— Дорабатываем узлы, — ответил Вениамин.

— Медленно дорабатываете! — усмехнулся председатель. — И ты хочешь, чтобы я тебя принял? Да ни за что: у нас своих бракоделов хватает. Хотя, пожалуй, можно взять. Работы у нас хватает: «делаем» помаленьку кормоцеха, малую механизацию. А что поделаешь? На вас, промышленников, не приходится надеяться. Сколько лет уже идет разговор об экструдерах, а их до сих пор нет.

— Экструдер? — пожал плечами Вениамин. — Впервые слышу.

— А-а, название мудреное, — пояснил Макушин. — А по-нашему просто: установка для кормоприготовления. Сами взялись было делать, да силенок маловато. Нужна нержавейка. А где возьмешь такую сталь? Шефов у нас поблизости нет. Может, у вас там найдется несколько листиков? За ценой не постоим.

— Попробую поговорить! — ответил Вениамин. Напористость председателя ошеломила его. Пробивной, видать, мужик, цепкий. А Макушин, окинув взглядом худую фигуру Вениамина, поддел:

— Ну и как: насовсем к нам или только подкормиться?

— Да нет, я серьезно настроился! — поспешил Вениамин развеять его сомнения.

— У меня тут таких столько перебивало транзитом, что я со счета сбился. Ты у жены своей спроси! — посоветовал Макушин. — Я ведь Клавдии сам вызов посылал, а она утикала в город. А у нас как не было грамотного продавца, так и сейчас нема. Ставим за прилавок вчерашних десятиклассниц, но их хватает до первой ревизии. Финансы поют романсы: растрата за растратой.

— Посылайте на учебу! Готовьте для себя кадры! — сказал на это Вениамин. — У нас вон от завода каждый год поступают в институты.

— Мы тоже направляем, платим стипендии, да что толку, — махнул рукой Макушин. — Девчонок хоть не посылай: получают диплом и до свидания! А парней негусто. Да они и не больно рвутся к учебе: рядовой механизатор больше любого инженера зарабатывает. Трудностей у нас много. Подумай хорошенько, взвесь как следует.

— Ну вот, пугаете меня! — упрекнул председателя Вениамин.

— Не пугаю, а ввожу в курс дела! — улыбнулся Макушин.

Касьян не вмешивался в разговор, слушал внимательно. Он очень обрадовался, когда председатель сказал на прощанье Вениамину:

— Переезжай. Квартирой обеспечим, работу жене найдем!

Расстались Макушин с Вениамином, как старые приятели. Отъехав немного, свояк сказал, не скрывая своего восхищения:

— Хороший мужик!

— Голова! — подтвердил Касьян. — Кандидат наук. Если хочешь знать, ты для него находка. Это он только виду не подает, что обрадовался. Еще бы: инженера-конструктора сосватал в колхоз.

— Ты думаешь?

— Не думаю, а знаю: хитрый. Это он тебя спытать решил. На твердость духа. — Касьян засмеялся, а Вениамин крепко задумался над его словами.

\* \* \*

— Ну, Клавка, пляши! — подступил Касьян к родственнице.

— Отойди, дьявол хромой! — оттолкнула его Клавдия.

— Плясать не хошь — ставь магарыч! — настаивал Касьян.

— С какой радости? — буркнула Клавдия. — Вам бы только выпить!

— Выпить мы и без тебя найдем! — отступил Касьян, слегка обиженный. Большое дело сейчас провернули. Так, Вень, а?

Вениамин стал рассказывать о беседе с председателем. Все диалоги, конечно, он опустил, а сказал самое главное: о жилье, которое обещал Макушин, и о работе.

— Хоть сейчас принимай магазин! — сказал Касьян.

— Боязно! — засомневалась Клавдия. — Один раз переехать, все равно, что погореть.

— Что тебя удерживает? — спросила Нюрка. — Семья небольшая, самый раз.

Клавдия слушала.

— У меня там большой магазин, не то, что здесь. Квартира хорошая: в центре города, со всеми удобствами.

— А у нас тоже водопровод тянут, — сказала Нюрка. — Газ привозной, но какая разница? Котельную строят. Не нравится в селе — устроишься в райцентре. Тут езды-то десять минут на автобусе.

— Не знаю. Надо подумать! — уклончиво сказала Клавдия.

— Ну чего ты заартачилась? — не выдержал Вениамин.

— Ее, поди, гальюн смущает? — вставил Касьян. — Так мы поправим это дело: утеплим, под общую крышу подведем.

Нюрка одернула мужа, но остаток вечера все равно прошел в бурных спорах. Хозяева дома во всю расписывали прелести сельской жизни, Вениамин поддакивал им, а Клавдия выставляла свои новые доводы, чтобы не спешить с переездом. Она вдруг вспомнила о Мишеньке, который учится в музыкальной школе, и еще больше запротестовала:

— Я с таким трудом его устраивала, а теперь все насмарку полетит.

— Ну что ты, ей-богу, как маленькая! — сказал Касьян. — Да есть у нас «музыкалка». И никакой очереди.

— Ну ладно, — сказала Клавдия. — Вас не переспоришь. Приедем домой, там и решим, как нам поступить.

А на следующий день были проводы. Нюрка насыпала сестре баул отборных яблок, приготовила на дорогу жареных кур, яиц, меду, испекла каравай. Сели за стол, пропустили по маленькой на прощанье, и Касьян опять забалагурил.

— Клавк, а ведь за тобой должок водится! — сказал он, хитровато прищутив глаза.

Клавдия аж поперхнулась, взгляд растерянный: на что это он намекает? Может, на то, как помогал ей, когда она была студенткой? Краска стыда прилила к ее лицу.

— Да-да, — заерзала она. — Я еще студенткой была... Обещала...

— Да я не о том! — качнул головой Касьян. — Поцелуй за тобой. Помнишь свиданку...

— А-а-а, — пришла в себя Клавдия. Успокоилась немного, вспомнила девичьи проделки. Однажды они решили подшутить над Касьяном. Нюрка с Клавдией очень похожи. Это сейчас Клавдия располнела, а тогда их мало кто различал. Так вот, заходит как-то Касьян вечером за Нюркой, а она и говорит: «Клав, иди покалякай с ним. Он не заметит». Накинула Клавдия Нюркин полушалок, вышла. Стоят, разговаривают. Все бы ничего, но Коська полез целоваться, Клавдия испугалась и убежала.

— Клавк, а ты ведь не все рассказала, — засмеялся Касьян.

Клавдия зарделась, как маков цвет, сделала Касьяну знак, чтоб молчал, но тот будто не заметил, повернулся к Вениамину и говорит:

— Видишь, у твоей родинка на верхней губе. Я ее сразу заметил. У Нюрки такой нет. Думаю, раз вы, то и я... А она как взвизгнет и бежать. Я ее головой в сугроб да еще сыпанул снежку под платье. Больше не разыгрывала.

Вениамин от смеху чуть не свалился со стула. Нюрка зажала рот ладошкой, выбежала из-за стола, а Клавдия застыла, как мумия.

— Хоть бы детей постеснялся! — выговорила она Касьяну.

— А что дети? — улыбнулся Касьян. — Не маленькие. Должны понимать, что к чему. Пусть знают: мы тоже не ангелы и посмеяться умеем.

Потом пришел час расставания. На вокзале Вениамин снова завел разговор о переезде в деревню. Касьян заверил свояка: угол ему будет обеспечен на первых порах.

— Цены тебе нет! — растрогался Вениамин. — Все у тебя легко да ладно, не то что у меня.

Они приложились слегка к бутылке, Вениамин вдруг заволновался, подошел к Клавдии и говорит:

— Клав, душа у меня не на месте. Останусь я тут!

— Как останешься? А мы? — вскинула брови Клавдия.

— А вы поезжайте. Распродавай там все, возьми с собой самое необходимое и скорее возвращайся сюда.

— А как же твой завод?

— К черту завод! — вспыхнул Вениамин. — Конструкторы и тут нужны. Заявление я тебе сейчас напишу. Пусть считают это патриотическим почином. Отпускали же людей на целину? И меня отпускают! Отпустят, Коська, а?

— Ну что ты мелешь? — осердилась Клавдия. — К чему такая спешка. Вот приедем...

— Не-е, Клавдя, — погрозил Вениамин. — Знаю я, как ты решишь. Это ты только здесь так говоришь, а приедем — тыщу причин найдешь, только б не ехать. Все — баста! Остаюсь! — И Вениамин пошел по перрону обратно к машине. Клавдия догнала его, вцепилась в рукав, потянула назад, приговаривая: «Стыдобушка-то какая...» Вениамин уперся, ни в какую идти не хочет.

Характер хочет показать, подумал Касьян. По пьяному делу это у него еще получается, а на трезвую голову такие номера, видать, не проходят. Махнул рукой Касьян, обнял свояка и повел назад. А тут и поезд подошел. Кое-как втолкнул Вениамина в вагон. Даже не попрощались по-людски. Нюрка залилась слезами. Касьяну жаль ее стало. Прижал слегка к груди жену и услышал, как стучит сердце. «Тебе нельзя волноваться!» — шепнул он и повел ее по перрону.

— Ой, а хлеб-то! — вскрикнула вдруг она, увидев на сиденье каравай. — Забыла о нем впопыхах.

— Тоже мне печаль! — сказал Касьян. — Голодовка, что ли? На любой станции купят сайку или батон.

— Как думаешь, приедут? — спросила Нюрка, думая о сестре.

Касьян взял каравай, раскрыл складной ножичек и отрезал ломоть, но есть не стал, а приставил его обратно. Передавая каравай Нюрке, сказал:

— Видишь, целого уже не получается. Так и Клавка твоя. Отрезанный она ломоть. Я тебе сразу говорил: пустая это затея.

\* \* \*

...Поезд они нагнали почти у самого села. Поравнялись с ним. Из вагонов приветливо замахали пассажиры. Нюрка приникла к стеклу: не мелькнет ли в окне знакомое лицо сестры? Но разве разглядишь на таком скаку? Потом дорога круто свернула вправо, а состав пошел влево. Нюрка проводила его печальным взглядом. Касьян хотел остановиться, но передумал: зачем волновать лишний раз жену.

## СКИФСКИЙ НОЖ

РАССКАЗ

Василий Муравлев получил срочное задание — продолжить возле фермы траншеи под силос. Только завел трактор, как видит, бежит к нему сломя голову Аксиныя Чеботарева, а по-уличному Чеботариха. Бежит, размахивает руками, кричит что-то. Высунувшись из кабины, он спросил:

- Ну что стряслось?
- Ой, Вась, дай отдышаться, — схватилась Чеботариха за сердце. — Малашка клад нашла.
- Где? Какой клад? — Муравлев сразу соскочил на землю.
- Самый настоящий, Вась. Своими глазами видела: брошки-сережки. А еще ножик блестящий. — И Чеботариха стала рассказывать о том, как застала Маланью Пухову за разбором клада.
- Заливаешь, бабка Аксютка! — насторожился Муравлев.
- Вот те крест — не вру! — заверила его Чеботариха. — Ножичек такой тонюсенький, аккуратненький. Сдается мне — из чистого золота.
- Поди, кухонный? — продолжал сомневаться Муравлев.
- Чтоб мне на этом месте провалиться — золотой! — и Чеботариха притопнула ногой.
- Везет же людям! — протянул Муравлев. — Ты, бабка Аксютка, даже не представляешь, что говоришь. Мне вон за цепочку сотенку отвалили, а тут пахивает целым состоянием. Надо бы Скифу сообщить...
- Федьке-то? Нет его — в город уехал.
- А когда вернется?
- Обещал седни.
- Подождем. А ты, бабка Аксютка, пока — молчок!

Нашел кого просить о соблюдении тайны. Еще по пути на ферму Чеботариха рассказала встречным бабкам про необычную находку соседки, и об этом вскоре узнала вся Комариха. Люди верили слуху, ибо в памяти односельчан еще были свежи раскопки, проводимые года два назад на курганах, тянувшихся грядой за околицей. Археологи тогда уехали не с пустыми руками, но наверняка, по просвященному мнению Муравлева, не все выбрали. Вот и пофартило Маланье, жившей как раз неподалеку от тех раскопок.

Судили-рядили, подсчитывали, сколько же Маланья отхватит за свой клад, и вроде бы стали замечать за ней то, чего раньше не наблюдалось: закупорила окна ставнями, на белый свет не показывается. Больше всех злословила по этому поводу Аксинья. Она прямо-таки из себя выходила, извелась вся, поджидая Федора Кулаева.

Библиотекаря Федору Кулаеву крошечная Комариха обязана пристальным вниманием археологов. Он давным-давно уверовал в тайну, которую хранили окрестные курганы, и не раз писал в районную газету об этих немых свидетелях старины далекой. На статьи его поначалу никто не реагировал, и больше всего скептиков было в Комарихе: «Подумаешь, бугры!»

Между тем бугры эти кого-то однажды всерьез заинтересовали, о чем наглядно говорила подземная галерея, вырытая на одном из курганов. Видимо, какой-то смельчак решил попытать счастья, да силенок не хватило добраться до заветного места. Потом хотели это сделать с помощью техники и сровнять курганы с землей, дабы они не портили окрестный пейзаж.

Кому взбрела в голову эта идея, в Комарихе уже не помнят, зато помнят, как восстал против нее Федор Кулаев. Его поддержала школьная интеллигенция, и от бугров тех отступились. Хотя ненадолго. Колхоз построил свой кирпичный завод, а глину решили брать из курганов. Снова началась борьба за городище, помеченное на карте как скифская стоянка. Однако сколько ни билась сельская интеллигенция во главе с Кулаевым, экономический расчет взял верх над общественным мнением.

Разработку карьера поручили Василю Муравлеву. Не больно задумываясь, он выбрал самый большой курган и давай ворошить его. Кулаев скрепя сердце смотрел на откровенное своеволие, а потом установил наблюдательный пост из школьников. И эта предусмотрительность сыграла решающую роль в судьбе скифской стоянки.

Однажды Муравлев заметил блеснувшее под солнцем колечко с пятикопеечную монетку, потянул за нее и вытащил цепочку. Зажал ее в ладони, полез было в кабину — тут-то его и засек Кулаев со своими дозорными. Отобрал у Муравлева редкую вещицу, приостановил вскрышные работы, а сам побежал на почту отбивать телеграмму в областной центр, где базировалась археологическая экспедиция.

Археологи, по словам комарихинцев, собрали богатый «урожай»: что поценнее увезли с собой, а часть вещей — стрелы, наконечники, некоторые предметы домашней утвари — оставили для коллекции, положившей основу школьному краеведческому музею. Юным археологам дали охранную грамоту на курганы, разрешив вести небольшие раскопки в округе. Они ходили в походы, копали шурфы на берегу Каменки — небольшой речушки, огибавшей место бывшей скифской стоянки, и очень гордились, когда нашли останки мамонта.

— Федь, а Федь, — шутили по этому поводу мужики. — Может, наши предки вовсе не скифы, а мамонты?

— Эх, темнота кромешная, — парировал Кулаев и декламировал полюбившиеся ему стихи Блока:

Да, скифы мы!  
Да, азиаты мы, —  
с раскосыми и жадными глазами.

Бивни мамонта доставил в музей Василий Муравлев. Он провез необычный груз на тракторе через все село, как бы демонстрируя свое живое участие в раскопках. И впрямь: с тех пор как Кулаев занялся поиском, Муравлев стал проявлять к его деятельности особый интерес: то ребят расспросит, мол, не нашли ли чего-нибудь выдающегося, то сам появится в местах раскопок, вскинув перед Кулаевым руку пионерским салютом:

— Золотоискателю физкульт-привет!

— Что ты как тень за мной ходишь? — возмутился однажды Кулаев.

— Я, Федя, теперь вместо ревизора! — ухмыльнулся Муравлев. — Вышел ты у меня из доверия. Напарнички у тебя зеленые. Объягорить их — особого труда не стоит.

— Чем выслеживать, лучше б помог шурфы копать, — сказал Кулаев. — Силенок у ребятшек маловато.

Муравлев с радостью принял предложение и помогал, особенно там, где было много галечника. Подгонит украдкой бульдозер, взбугрит каменистую почву, а потом уж ребята копаются всласть, познавая пласты древности.

Начальство, прознав про увлечение Муравлева, сделало ему внушение, предупредив, что при повторении подобных случаев ссадят машины и пошлют разнорабочим. Запрет этот только поднял авторитет Муравлева в глазах активистов музея, а Кулаев, простив Василию выходку на кургане, стал еще больше приобщать его к поисковой работе и по воскресеньям даже брал с собой в походы.

«Пригрел у себя на груди змеюку!» — предупреждали Кулаева мужики, считая, что неспроста пристрастился Муравлев к археологии: он давно лелеял в душе надежду найти клад. Во всяком случае не раз уже по пьянке похвалялся, что вскоре отхватит для жены своей такие серьги, что закачаешься.

В тот день, когда Чеботариха поведала о таинственной находке Маланьи Пуховой, у Василия аж засосало под ложечкой от зависти. Сожалел о том, что снова не ему достался клад, он мысленно поддерживал порыв Аксины, возлагая определенные надежды на Скифа. «Уж кто-кто, а Федор не станет церемониться с Маланьей!» — рассуждал Муравлев. Он представил на миг, с какой болью расставался с находкой, и не позавидовал Пуховой, которой еще предстояло испытать столь же горькие минуты в своей жизни.

Кулаев вернулся из города дня через три и сразу же поспешил к Чеботарихе разузнать кое-какие подробности про клад. Акусьня встретила его еще одной новостью. Полчаса назад видела она Маланью с узелком в руках на автобусной остановке.

— Неспроста это, — строила догадки Чеботариха. — Похоже, в райцентр подалась сбывать находку.

Федор бегло взглянул на часы, сказал взволнованно:

— Айда со мной, тетка Акусьтка! Автобус еще не прошел. Мы ее сейчас с поличным застукаем. Надо только Василия захватить. Понятыми будете...

Муравлев в это время был на обеде и уговаривать его не пришлось. Отложив ложку, он тут же предложил план предстоящей операции. Прежде всего надо было разыскать участкового милиционера, дабы не оскандалиться перед народом. Это он на себя взял. А Федор с Акусьней, мол, пусть постараются задержать Маланью на остановке либо проехать с ней в райцентр и не выпускать там из виду.

Планировали-планировали, и все попусту. Только вышли на шоссе, а навстречу им Маланья. Идет как ни в чем не бывало, несет в сетке хлеб, кульки с мукой и крупой — в магазин ходила. Растерявшись, Федор не знал, что и сказать, а Маланья вдруг с какой-то радостью бросилась к Кулаеву, приговаривая:

— Ну, наконец-то объявился, пропащий. Зашел бы, Хведор. Дело есть...

— А мы как раз к тебе, — вконец стушевался Кулаев, но тут вперед выступила Акусьня и с ходу в карьер:

— Покажь-ка нам клад!

— Чего ж не показать — его не убудет! — сказала Маланья и пошла вперед, увлекая за собой остальных.

Маланья вынесла из избы сверток, передала его Кулаеву и, опершись о косяк двери, стала наблюдать, как засуетились вокруг него Акусьня с Василием.

Кулаев бережно развернул тряпицу и ахнул. Нет, не соврала на этот раз Чеботариха, правду поведала: острое лезвие засверкало на солнце, отливая червонным золотом.

— Вот это финочка! — не скрывал своего восхищения Муравлев.

— И все? — спросил Кулаев Маланью.

— Извиняйте, люди добрые, — развела руками Маланья. — Больше никакого клада я не видывала.

Федор посмотрел на молчавшую Акусьню, потом на Маланью, заметил на лезвии свежую зарубину, сказал с укором:

— Ох и варвар ты, тетка Малашка. Это ж скифский нож. Ему цены нет. А ты никак зарубить его хотела?

При этих словах Акусьня отступила за спину Муравлева и стала делать Маланье какие-то знаки. Маланья покачала головой, сказала с усмешкой:

— Какой уж нашла.

Чеботариха облегченно вздохнула, а Кулаев стал допытываться у Пуховой, где она обнаружила сие оружие. Мол, не дай бог, если копалась в курганах, тогда ей не сдобровать.

— Не хитри, тетка Малашка! — грозно сказал он. — А ну, выкладывай все, что нашла: кольца, серьги, цепочки!

— Я ж тебе сказала: нет никакого клада. А ножик бери. Я и так с ним страху натерпелась.

— А вот мы сейчас проверим! — и Кулаев с Муравлевым зашагали к курганам, возвышавшимся за огородами.

— И не стыдно тебе, Акусьтка, — сказала Маланья, оставшись наедине с соседкой. — На все село ославил.



— Поди, припасла на зубы, а? — скривилась Чеботариха.

— А чо теряться? — усмехнулась Маланья, невольно вспоминая недавнюю сцену, разыгравшуюся у нее во дворе.

...Весной у Маланьи затопило погреб. Когда подсохло, стала она очищать хранилище и наткнулась на этот самый ножик. Вылезла наружу, любителю редкой вещи и тут откуда ни возьмись — Чеботариха. Увидела кинжал, всплеснула руками:

— Чур, на двоих!

— С какой стати? — удивилась Маланья и завернула клинок в фартук вместе с ладонями. Маленькая, сухонькая, стоит она, словно воробышек, перед рослой Аксиньей и не знает, что предпринять. У Чеботарихи хватит соображения наброситься на человека, как это бывало не раз в бабских ссорах. Сама не помнит, как это получилось, оттопырила Маланья клинок. Чеботариха попятилась и пошла со двора со словами:

— Не хочешь пополам, целиком отдашь!

— Ты куда?

— К Скифу! — обернулась Аксинья. Глаза ее торжественно блеснули. И Маланье, век прожившей в бедности, вдруг и впрямь стало жаль расставаться с золотой вещицей.

— погоди! — встревоженным голосом окликнула она соседку.

— Так-то! — обрадовалась Аксинья. — У меня в райцентре знакомый живет. Он не покусится.

— Что нам деньги, — не согласилась Маланья. — Вот кабы зубы вставить... А то совсем жевать нечем.

— Тут обеим хватит, — захихикала Аксинья. — У тебя ножовка найдется?

— Жаль такую красоту губить, — возразила было Маланья, но Аксинья уже действовала. Ножовки по металлу не нашлось. Тогда она схватила топор и рубанула им по лезвию. Тонкий, пронзительной чистоты звон, словно острие шила, вонзился в сердце Маланьи.

— Господи, грех-то какой! — взвизгнула она и, оттолкнув Аксинью, снова завладела находкой. И как ни уговаривала ее Чеботариха, ни в какую не согласилась портить ценную вещь. От минутной слабости ее не осталось и следа.

— Значит, одна решила богатеть? — ухмыльнулась Чеботариха. — Смотри, как бы не пожалела.

Когда по селу пошел слух о кладе, Маланья сразу узнала, чьих рук это дело. И поначалу даже испугалась за свою жизнь. А вдруг и впрямь кому-нибудь взбредет в голову завладеть находкой. Кинжала ей не жалко. Отымет — бог с ним, а то еще пристукнет на старости лет и поминай, как звали. И не случайно закрывала ставни. По ночам ей снились кошмары — уж не рада находке. Однажды даже привиделась Аксинья, облаченная в какую-то заморскую одежду и с ножом в руке. «Молись, — говорит, — Малашка, буду тебя убивать». А с кончика лезвия уже кровь капает. После этого Маланья решила заявить о находке, не дожидаясь Кулаева. И вот пошла ныне в сельсовет, но ни председателя, ни участкового милиционера не оказалось на месте. Спасибо, Федор объявился, а то совсем покой потеряла.

...Пока Федор с Василием осматривали курганы, огорченная неудачей Аксинья, все еще надеясь на что-то, поучала Маланью, чтобы она о погребке ни гу-гу: понаедут опять, перероют все, как кроты.

— Им что, лишь бы даровое золотишко выскрести, а у нас тут огороды...

Вняв ли совету соседки или сама так решила, но когда мужчины вернулись и Федор снова стал вести дознание, Маланья вконец заинтриговала его молчанием.

— Нехорошо поступаешь, тетка Малашка! — погрозил ей Кулаев. — Знаешь, кто ты после этого? Могильщица!

— Какая еще могильщица? Что ты тут выдумываешь? — заступилась за нее Аксинья.

— Ну из этих самых бугровщиков! — пояснил Кулаев. — Были такие в прошлые века. Выгребали из курганов золотишко и продавали его купцам. Слыхала о коллекции Петра Первого? Она целиком собрана из курганного золота!

— Большой грех на себя берешь, бабуся! — вторил ему Муравлев, поправляя и без того ладно сидевшую на голове фуражку с кожаным верхом и лакированным козырьком. — А, поди, еще в бога веруешь?

— А как же без бога-то? — воскликнула Маланья.

— Ну и поплатишься, — сказал Муравлев с серьезным видом. — Будешь на том свете в смоле кипеть. Так в божьем писании говорится.

— Чего душу травите, аспиды! — выдавила из себя Маланья. — Не трогала я ваши курганы. Будь он неладен, этот ножик. В погребке я его нашла...

— Так бы и сразу! — оживился Федор и решительно направился к погребу. Маланья опередила его, загородила собой вход, сказала твердо:

— Не пушу, Хведор. Забирай ножик и уходи, а не то закричу.

Кулаев походил вокруг да около, потом составил акт, согласно которому он принимал на временное хранение драгоценность, и удалился со своими «понятыми».

\* \* \*

Избавившись от находки, Маланья успокоилась и вечером, едва добравшись до постели, заснула крепким сном. А в полночь ее разбудил душераздирающий вопль: «Йе-ух! Йе-у-у-ух!» Кричала женщина, но что она кричала, не разобрала. Потом раздался мужской хохот, кто-то протопал по двору и все стихло. Маланья закрестилась, подумала: «Воры!» Леденящий страх сковал ее, и она лежала, боясь пошевелиться, чутко прислушиваясь к воцарившейся тишине. И хотя никто не ломился в дверь и ставни, больше не могла сомкнуть глаз.

Утром Маланья сразу обнаружила беспорядок. Крышка погреба была открыта, возле нее валялась чья-то штыковая лопата и знакомая фуражка-шестиклинка. И тут Маланью осенила догадка: неужто Василий клад искал? А что? Это на него похоже. Конечно, он. И были, похоже, с женой. Нинка у него бедовая, на все пойдет.

Маланье вдруг стало смешно и весело: надо же — столько страху из-за них натерпелась.

И она решила посмотреть, что там натворили незваные гости в погребе. Спустилась на несколько ступенек, всмотрелась в глубину подземелья, и вдруг сердце ее похолодело: на дне белел человеческий череп, а вокруг в беспорядке были разбросаны кости.

«Ой, господи, мертвец!» — Маланья проворно выскочила из погреба и направилась было к Скифу, да тут появился хозяин фуражки. Лицо Муравлева заплывало от вчерашней выпивки. Воровато оглядываясь по сторонам, он молча потянулся за шестиклинкой, но Маланья подшутить решила, спрятала ее за спину и говорит:

— А выкуп где?

— Будет, тетка Малашка, будет тебе выкуп, — взмолился Василий. — Только молчи. Засмеют ведь.

— На, бугровщик! — усмехнулась Маланья, отдавая ему фуражку. — И э-эх, на блестяшки позарился. И жену никак втянул.

— Баба, что ли, моя? — Муравлев еще больше закосил глазом. — Не-е, Нинка не пойдет на это, а узнает — голову оторвет. Сказать тебе — не поверишь — тетка Аксютка! Вот авантюристка. И я, байбак, пошел у нее на поводу. — И Муравлев стал рассказывать о ночной экспедиции.

...Вечером заглянула к Муравлевым Чеботариха и говорит жене Василия:

— Нинк, отпусти на часик мужика — бочку вытащить из погреба.

— Вот полуночица, — усмехнулась Нинка, но не стала перечить.

Пришел Василий к Чеботарихе, а у нее уже и выпить, и закусить приготовлено. «Причастился» Муравлев и спрашивает:

— Ну где твоя кадка?

— Это какая? — усмехается Чеботариха.

— Ну та самая, про которую говорила.

— Она, милок, в Малашкином погребе. Надо ее оттуда вызволить.

Пошли к Маланье. Чеботариха — впереди, освещает электрическим фонариком путь, а он, Василий Муравлев, следом топают. Стали подходить к дому соседки, Аксинья попросила его не шаркать сапожниками, и сама бесшумно поднырнула под прясло. Тут бы ему и смикнуться, что к чему, но самогонка сделала свое дело: перешагнул Василий через жердины и юркнул следом за Чеботарихой в погреб. Никакой бочки он там не увидел, зато почувствовал в руках невесть откуда взявшуюся штыковую лопату и сразу сообразил, зачем они сюда пожаловали.

Мысль заработала лихорадочно: «Клад!» Не раздумывая, Василий ударил штыковой лопатой в то место, куда упал луч фонарика, направляемого твердой рукой Чеботарихи. Углубившись, он почувствовал под лопатой что-то твердое, стал осторожно обкапывать со всех сторон, приговаривая: «Ну, тетка Аксютка, сейчас мы грабанем с тобой!» Вдруг под лопатой что-то хрустнуло, в стене образовалась дыра и оттуда вместе с комьями земли скатился к ногам человеческий череп, а затем посыпались кости. «Шкелет!» — закричала Аксинья и с воплем поползла по ступенькам, подгоняемая истошным хохотом Муравлева...

— Ох и напужали вы меня! — сказала Маланья, выслушав рассказ Василия. Ее так и распирало от смеха, а тому было не до веселья. Маланья успокоила его, дескать, она не проболтается, лишь бы сам держал язык за зубами. Что же касается новой находки, то об этом надо было сообщить Скифу.

Через час уже все село знало: у бабки Маланьи ночью произошел обвал в погребе и там лежит скелет. Федор Кулаев, наказав Василию Муравлеву приглядывать за могильником, отбыл в райцентр. Василий в свою очередь перепоручил караул Маланье: «Смотри, бабка Малашка, в оба: как бы этот мертвец не задал деру!» Сказал и был таков, пошел доделывать траншею.

...За день кто только не перебивал у Маланьи. Спускались ради любопытства мужики и бабы в погреб, сыпали шутками-прибаутками и расходились, недоуменно пожимая плечами. Под вечер заглянула Аксинья. Лицо невозмутимое, а глаза так и бегают.

— Малашка, я у тебя, случаем, лопату не оставляла? — спросила она. — Хотела картошки подрыть. Хватилась да нечем.

— Да вон твоя пропажа! — кивнула Маланья на прислоненную к сеням лопату. — Не знаю вот только, кто это ей ноги приделал.

— Уму непостижимо! — затрясла головой Аксинья. — С вечеру у порога лежала. Может, воры стащили.

— Какие еще воры? — нахмурилась Маланья.

— Ну те, что ночью наведывались.

— Вот уж чего не знаю, о том сказать не могу. У меня обвал произошел.

— А я думала — врут, — притворно протянула Аксинья, поспешно удаляясь, а Маланья подумала: «Нет, ты, дорогуша, изовралась, извертелась вся, как на огне. Это тебя жадность сгубила».

Жизнь соседок прошла на виду друг у друга. Маланья вспомнила вдруг войну, проводы мужа и митинг у сельсовета по сбору средств в помощь фронту. Последнюю копейку не жалели люди на спасение оте-

чества родного. А у Маланьи все состояние — обручальные кольца. С Макаром они только что поженились и пожить вместе как следует не успели, как ему вручили повестку. Будто во сне шла она к столу, покрытому красным кумачом. Выложила два колечка, повернулась, чтобы уйти, но райкомовский товарищ задержал ее, поцеловал при всех и дрогнувшим голосом сказал: «Правильно, дочка! Нам сейчас важнее всего победа!» И все, кто там был, с одобрением восприняли эти слова. Кроме Аксиньи.

— Примета плохая, — сказала она Маланье. — Как бы не убили твоего Макара.

Накаркала соседка, как ворона. Не дождалась Маланья своего Макара, и дочь, родившуюся без него, схоронила в лихую годину, а вот Аксинье, жившей беззаботно и вольно, везло в жизни. Не больно она жаловалась своему мужу вниманием и заботой, больше о своей красоте печлась. С легким сердцем провожала Костю на фронт и без него не грустила. Не раз видели ее в райцентре под ручку с приезжими офицерами. Но зато когда Костя вернулся с фронта живым-невредимым, Аксинья так себя выставила перед ним, будто бы вернее ее жены на селе не было.

Поверил ей Костя и на радости закатил пир горой. Созвал соседок. Аксинья решила блеснуть перед ними трофейными нарядами, повесила на себя украшений, что лежали в потаенном месте, и тем самым только раздражила щемящие чувства вдов. Подвыпив, то ли в отместку, то ли из бабьей зависти кто-то из них возьми да и шепни Косте о проделках его жены. Пробудили в человеке зверя и сами не рады. В разгар гулянья, подскочив к пляшущей Аксинье, Костя посрывает с нее украшения и стал втоптывать их каблуками солдатских сапог в землю. Насилу утихомирили бывшего фронтовика. Правда, буйства его хватило только до утра. Вышла на рассвете Маланья во двор и видит: сосед в нижнем белье ползает на коленках возле крыльца, а из сеней доносится голос Аксиньи: «Не найдешь — пеняй на себя!»

Так и прожил Костя с Аксиньей в ссорах да скандалах. Не раз она уходила от него к другим заветкам, но потом снова возвращалась. Костя прощал жену, растратившую себя всю без остатка в поисках красивой и легкой жизни. Говорят, любил он Аксинью и потому сильно переживал ее непостоянство. Мало что изменило соседку и после смерти мужа. Спекулировала, прожигала жизнь, не оставив ни потомства, ни доброй о себе памяти. «Господи, и зачем ей клад, — думала Маланья. — Кабы молодость вернуть — другое дело. Я б за это и царства не пожалела».

\* \* \*

Через несколько дней Федор Кулаев привел к Маланье археологов: трех девушек в джинсовых костюмах и высокого молодого мужчину, в очках, с большими залысынами на лбу.

— Вениамин Иванович! — отрекомендовался он и, осмотрев погреб, пояснил ситуацию, дескать, вынужден огорчить, Маланья Егоровна, но придется немного потеснить огород.

Хозяйка не возражала: раз надо — какой может быть разговор. Студентки помогли ей выкопать картошку. И закипела работа.

Маланья с любопытством наблюдала за тем, как юные студентки осторожно очищали от земли скелеты, смахивая с них кисточками пыль веков. Скелетов было пять. И по тому, как они лежали рядом, малюсенькая, она поняла, что тут захоронена целая семья.

Сфотографировав место раскопок, студентки стали складывать кости в ящики. При этом Вениамин Иванович проявил особое беспокойство о черепе главы семейства, и сам бережно упаковал его в отдельный коробочек.

— Вождь скифского племени, — пояснил Маланье Федор Кулаев. — Череп отправят в Москву, и там ученые восстановят по нему портрет знатного предка.

— Ха, нашли мослы и радуются, — сказала Аксинья, наблюдавшая за раскопками со своего двора.

— Иди, полюбуйся, тут, кажись, прах твоих любовничков, — заметил Муравлев. — Ишь, куда заховала.

Муравлев был навеселе и рассказывал собравшимся, как они с бабкой Аксиньей пытались счастья в Маланьином погребке. И стар и мал, облепившие, как муравьи, кучу выброшенной глины, покатывались со смеху.

— Балабон ты! — повела плечом Аксинья и заключила под хохот собравшихся: — Кабы знала, что разболтаешь, лежать бы тебе вместе с ними. — И она повела рукой в сторону останков скифской семейки.

— Да, рисковал, Василий Митрич! — смеялся от души Федор Кулаев, не отходивший от археологов ни на шаг.

Когда все было собрано и уложено в дорогу, Маланья устроила гостям угощение, не забыв пригласить Кулаева, а где Кулаев, там и Муравлев. Вынесли стол во двор, Маланья выставила вареную картошку, малосольные огурчики, бутылку вина. При виде выпивки Вениамин Иванович запротестовал было, но Муравлев уже командовал, чтобы хозяйка побыстрее ставила рюмки.

— Это девица! — сказал он, разливая самодельное вино. — Ты мне лучше скажи, куда золотишко деваете?

— Как куда — себе берем! — усмехнулся Вениамин Иванович, а Кулаев, приложив ладонь ко лбу Муравлева, вскрикнул:

— Братцы, у него золотая лихорадка!

Девушки прыснули со смеху. Муравлеву не понравилось такое вольное обращение, и он выдал Скифу:

— Ты по себе не меряй! Ишь, вставил фиксу. Думаешь, не знаю, откуда золотишко. Не зря в земле копаешься. Я еще и до тебя доберусь, архиолух! — и Василий смерил Федора презрительным взглядом.

— Ну чего вы ершитесь, — сказал Вениамин Иванович и стал пояснять важность находок. Это только для непосвященных кинжалы, стрелы, наконечники мало что значат, а кулоны, цепочки и броши не больше, чем украшения, предметы роскоши. Специалисту каждая такая вещичка порой открывает целую эпоху, тысячелетия. О многом они могут рассказать: как жили люди в давние времена, чем занимались и о чем думали-мечтали, с кем дружили и против кого воевали. А вождь, похоже, умер от ран, остальные...

— А еще у них был обычай, — заметил Вениамин Иванович. — Вождя хоронили вместе с ближайшими родственниками. Всех убивали, обряжали и клали рядом.

— Слышь, бабка Аксютка, — воскликнул Муравлев, — как в старину делали? А ты своего деда вогнала в гроб, а капиталец его к рукам прибрала. Али профрантила?

— Типун на язык! — плюнула в сердцах Аксинья, уходя с глаз долой.

А Маланья слушала рассказчика с затаенным дыханием. Оказывается, не простое это дело — копанье курганов. Но представив, как погибли ни в чем не повинные люди, пригорюнилась: дикость и только. Хотя чему удивляться? Сейчас кое-кто почище вытворяет. Вон Васька Муравлев. Жулик, каких поискать: так и норовит тебя объегорить. «И Аксинья хороша... Ишь, чо надумала, — заметила про себя Маланья. — Дележ устроить хотела. Фигушки! Это чо ж дается-то? Столько веков минуло, а люди знай себе к богатству тянутся. Да хоть бы честным трудом его наживали. Выходит, зло неискоренимо? Нет, друзья хорошие. — Маланья молчаливо окинула взором археологов. —

Копаетесь вы в прошлом, трясете старым барахлом, сказки рассказываете, а до истоков зла так и не докопались. А ежели б его с корнем вырвать? Какая благодать была бы на земле!»

— Каждая вещь помимо всего несет в себе эстетическую ценность, — продолжал совсем противоположное думам Маланьи Венямин Иванович. — Вот, скажем, кинжал. Пятый век до нашей эры. Ему цены нет. Филигранная работа. Посмотришь и гордостью полнится сердце за наших предков, изваявших такую красоту. Выставим его в музей — пусть любят люди, получают наслаждение.

— Как в музей?! — удивился Муравлев.

— А что это тебя так волнует? — усмехнулся Кулаев.

— Да так, ради спортивного интереса, — уклончиво ответил Муравлев.

— Смотри, нездоровый это интерес. Сколько людей из-за золота погублено. Ну, скажи, что бы ты стал делать с кладом? — допытывался Кулаев.

— Как что? — удивился в свою очередь Муравлев. — Наивный вопрос. Прежде всего купил бы «Жигули». Смotal бы в загранку, на курорт с женой...

— Вася, сынок, — сказала Маланья. — Да ты посчитай, сколько пропил: уж не одну машину купил бы, полсвета объездил бы...

— Не вмешивайся, тетка Малашка! — заметил Муравлев. — Не деньги нас, а мы деньги делаем. На выпивку я всегда заработаю. Не об этом речь. Интересно все-таки клад найти.

— И на дармовщинку пожить! — добавил язвительным тоном Кулаев.

— Хотя бы и так, — нисколько не смутясь, сказал Муравлев. — Может, клад этот предки для меня оставили, а вы его забрабастали и тю-тю!

— Глядите, какой богатый наследник выискался! — присвистнул Кулаев.

В разгар перепалки во дворе появилась Чеботариха, и Муравлев воспрянул духом:

— О, нашего полку прибыло. Сидай, бабка Аксютка, будем вдвоем отбиваться, а то насели на меня скопом.

Поборов смущение, Чеботариха подошла к столу, но от стула, предложенного Муравлевым, отказалась. Потопталась в нерешительности и вдруг выложила перед Вениамином Ивановичем расшитый бисером гаманок.

— Проглядели, наверное, — сказала она с лукавинкой в глазах. — Случайно глянула, а он лежит в пыли.

Федор Кулаев открыл гаманок и извлек из него золотые серьги, браслет и цепочку. Все пришли в восторг. Студентки повскакали с мест, стали примерять по очереди украшения, а Василий Муравлев обхаживал их, хватался за сердце и приговаривал:

— Ну, бабка Аксютка, с тобой не соскучишься: инфаркт схлопочешь.

— Дайте-ка сюда! — Вениамин Иванович взял вещи, внимательно посмотрел их и, положив в гаманок, отдал обратно хозяйке. — Не морочьте голову, бабуля, — произнес он с улыбкой. — На них же проба стоит. Адресочком ошиблись: мы не валютчики, а археологи.

— Дык как это? — заводила глазами Чеботариха, пятясь со двора. И только она вышла, Муравлев, потеряв всякий интерес к археологам, поднялся следом. Догнав возле дома Чеботариху, он набросился на нее с упреками:

— Ты что, рехнулась, бабка Аксютка! Люди бьются за металл. Не слыхала разве, скоро опять наценка на золото? А она, понимаешь, прославиться решила. Ну кто так делает? Хочешь, подскажу? Иди к этому очкарику и скажи, что клад вы вместе с Маланьей нашли. А чо — разве

не так? Вон и финочку пытались разрубить. Все тебе будет: и слава, и награда.

— Демон ты, а не человек, — заерепенилась было Чеботариха, но потом встрепенулась: — А рази это можно?

— Ты слухай, что тебе говорят. А ежели чего, я — свидетель.

В словах Муравлева была такая непоколебимая уверенность, что Чеботариха тут же побежала к Маланье, но археологов уже там не застала. Недолго раздумывая, она села в автобус и поехала в райцентр, нашла там Вениамина Ивановича, закатила скандал, а разбираться все равно пришлось Кулаеву. После разговора с ним Аксинья прибежала к Муравлеву сама не своя:

— Вась, он клеветон на нас хочет написать.

— Пусть только попробует. Я ему живо фикса выбью, — сказал Муравлев, но, подумав, протянул: — А что — от Скифа все можно ожидать. Знаешь, бабка Аксютка, я как-нибудь улажу это дело: спи спокойно, никакого клеветона не будет, но ты мне за это сережки продашь. Идет? Уговор — дороже денег...

— Ладно уж, Вась, — согласилась Аксинья, чего, собственно и добивался Муравлев.

...А Маланью Пухову ждал сюрприз. За находку ей полагалась приличная сумма.

— Это тебе за погром, что учинили, — сказал Кулаев, подавая ей чек на получение денег.

— Господи, за что такая колышка? — удивилась Маланья. — А еще говорили: энтому ножу цены нет.

— Всякая вещь имеет цену, — глубокомысленно заключил Кулаев. — Придет время и будем делать из золота унитаза. А пока бери, не отказывайся.

— Нет, сынок, не возьму, и не уговаривай. Ни к чему мне на старости лет богатеть. Ты лучше перечисли детишкам в детсад.

— Вот этот поступок одобряю, Маланья Егоровна, — сказал подчеркнуто официально Кулаев. — Что в нашем обществе больше всего ценится? Честность, бескорыстие и доброта человеческая. Их ни за какие слитки не купишь. Так, Маланья Егоровна?

Вскоре в районной газете появилась небольшая заметка, вызвавшая бурю негодования со стороны Муравлева. «Это Скифа работа! — сразу определил он, затаив на Кулаева еще большую обиду. — Ну это ли не варвар!» Когда он, Муравлев, нашел цепочку, Федор и словом не обмолвился в печати, а бабушку Маланью расписал, как кинозвезду. Но ничего, он своего добьется, заставит библиотекаря упомянуть о нем как о первооткрывателе захоронения, хотя бы в музейных «анналах». Пусть все знают, что жил такой человек, чьим предком, возможно, был сам вождь скифского племени. Но Кулаев только посмеивался в ответ, мол, не слишком ли много чести для такой исторической личности. Не за что его увековечивать: не горит, а тлеет, а посему, если и канет в вечность, такие «экземпляры» все равно раскопкам не подлежат.



Александр Михайлович Родионов родился на Алтае в 1945 году. По профессии геолог, работает на оползневой станции в Барнауле. Автор двух сборников стихов, участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве.

Поэма «Портрет реки» войдет в третий поэтический сборник А. Родионова, который запланирован Алтайским книжным издательством на 1982 год.

Александр РОДИОНОВ

## ПОРТРЕТ РЕКИ

ПОЭМА

I

Друг мой неожиданно нагрнул —  
Дверь мою просторно растворил.  
Он вошел и так открыто глянул,  
И портрет реки мне подарил.  
На портрете буйная вершина  
Дерева ветвистого — Оби.  
Так его увидели машины,  
Сняли из космических глубин.  
Сверху нахлобучены на горы  
Облака, что шапки набекрень.  
На ветвях, врастающих в просторы,  
Нависают гроздьи деревьев.  
И у всех особое обличье.  
Я подарок положил на стол.  
Предо мною Обь во всем величье.  
Весь ее могучий древний ствол.

II

Чисто в небе. Лето на излете.  
Подойду, спрошу у старика:  
«Батя, вы давненько здесь живете,  
А давно —  
Какой была река!»  
Он молчит, ведро ладонью гладит,  
Он в работу по макушку врос —  
Донышко к ведру худому ладит  
И попутно мне в ответ вопрос:  
«Я давно уже тебя приметил.  
Что нашел ты здесь, на берегу!»  
Старику я коротко ответил:

«Я по службе. Берег берегу». —  
«Бережешь!

Я — тутошний, со стажем.  
Берег знаю вдоль и поперек,  
Только что-то не припомню даже,  
Чтоб его хоть кто-нибудь берег...»  
Прав старик. Я старожилу верю,  
Но не с кандачка завел я речь.  
Город до того насел на берег,  
Так что время берег побережь.  
Круглый год — денечки полевые.  
По Оби проходит мой редут,  
Там, где очаги оползневые  
Берега у города крадут.  
Собеседник глянул яснооко,  
Осмотрел ведерное нутро,  
Говорит:

«Пойдем-ка, вон — протока.  
Испытаем старое ведро».

Бережок протоки.  
Сели рядом.  
«Что в сусеках памяти скрести!  
Надо вспоминать или не надо,  
Что река родная мне с крестин!..» —  
«Но при чем какие-то крестины!  
Вроде не об этом я просил...»  
От реки тянуло духом тины,  
Колыхался по протоке ил.  
Был упрек мой как-то неуместен,  
Но старик ничуть не возмущен,  
Продолжал:

«На этом самом месте  
Я своим отцом в реке крещен.



Ни попа, ни ладана, ни свечек,  
Но запало в память мне одно —  
Как играет солнышком расцвечен  
Золотой песок — речное дно.  
Я прожил свое. Пожил немало.  
Так никто не может обнимать,  
Как меня в то утро обнимала  
Крестная моя речная мать.  
Обнимала как и сколь хотела,  
Успевала радугой расцвасть,  
Убеждала, обнимая тело,  
Что я есть на белом свете. Есть!  
Расцветала...

Да вот стала бледной,  
Прочь от города подальше подалась.  
Да и как ей не податься, бедной,  
Если он в нее сливает грязь!  
Совестно показывать руками.  
Вон труба. Ты посмотри туда...»  
...Из трубы, пульсируя, плевками  
Шла «условно чистая вода».  
Стороной сороки пролетели.  
Берега стояли в наготе.  
Ни камыш, ни птицы не хотели  
Жить в такой условной чистоте.  
Встал старик.  
Черпнул воды устало.  
Тронул в чалой седине висок.  
Из ведра ни капли не упало  
На горячий, на сухой песок.

### III

Обозрима, вся доступна глазу,  
Объ лежит на плоскости стола.  
Я, однако ж,  
далеко не сразу  
Оказался у ее ствола.  
Диктовал судьбе моей порядок  
Ток геологических кровей.  
И не год, не два провел я кряду  
Средь обских раскидистых ветвей.  
И случилось, что войдя в долину,  
Я смотрел с надеждою вперед,  
Но встречал сухого русла глину...  
Заблудился!  
Или карта врет!  
Я, речушку отыскать пытаюсь,  
Поднимался на водораздел.  
Пиш кричали, на пути встречаясь:  
«Здесь топор когда-то порадел».  
Убеждался я, узнав округу,  
Что подруга-карта не врала.  
Молча подтверждала, как упруго  
Здесь речушка свой разбег брала...  
Тень реки из прошлого предстала:  
«Ты меня, как память, пригуби.

Я иссохла.  
Стихла.  
Перестала —  
Синяя ветвиночка Оби.

Нет, не вдруг речушки иссякают.  
И леса не сразу подсекают.  
И не вдруг ушла от старика,  
Обеднев на веточку, река.

### IV

Двор. Крылечко. Чистая ступенька.  
Говорок спокойный старика:  
«Ты опять по службе!» —  
«Нет. По дружбе.  
У меня здесь друг живет —  
Река».

А над берегом, над старою избою  
Облако плывет, как белый струг.  
Дед роняет:

«Нам фартит с тобою.

Нам везет —  
река хороший друг.

По протокам, по затишью стариц  
Сколь я на лодке зоревал,  
А вот что река жене подарит —  
Чур меня.

И не подозревал.  
Укрываясь утреннею мглою,  
Как-то я затих среди снастей,  
А на той сторонке, под ветлою,  
Девка.

Не хватало мне гостей.  
Распугает рыбу, верхтхвостка.  
Надо бы купальщицу шугнуть.  
Надо бы...

Да только вот загвоздка —  
Та уже разделась и по грудь,  
И по грудь в приглубое местечко,  
Ойкая по-девичьи, вошла.  
И светлее сразу стала речка,  
Словно девка в ней чего зажгла.  
Замер я. Аж пересохло в глотке.  
Ну а что я мог ей прокричать!  
Что я здесь!

Что весь я вот он — в лодке!  
Нет уж, братец, лучше помолчать.  
На нее любуюсь, застывала  
Светлая листва осокопей.  
Солнышко на цыпочках вставало,  
Чтоб ее увидеть поскорей.  
А она за солнышком ныряла,  
Отдыхала, нежась на спине.  
И всему на свете доверяла:  
И реке, и неба глубине.  
Замер я.

Вдруг как меня подбросит!

Поздно —  
Хоть кричи, хоть не кричи.  
Ведь ее туда, дуреху, сносит,  
Где кипят холодные ключи.  
Ей бы омут оставлять в сторонке.  
Все боялись круговерти той.  
А она, смотрю, —

уже в воронке  
И все чаще, чаще под водой.  
А воронка вьется возле тела...  
Как! Не помню.  
Только повезло.  
Вовремя над омутом взлетело,  
Выдержало верное весло.  
...Обь — она добра и таровата.  
Жаль, старуха стала старовата.  
Да и я, как видишь, староват.  
И хожу к реке я виновато.  
А хотя, ну в чем я виноват!..  
Мысль одна души моей не греет,  
Что река, как женщина, стареет.

#### V

Находя дорогу меж заторов,  
Вышла в пойму полая вода.  
У реки весной крутящий норов.  
На берег выходят города  
Поглядеть, встряхнуться, убедиться,  
Что пеленки льда трещат по швам,  
Силище напора удивиться,  
Ветра ледоходного напиться,  
Проводить на север зимний хлам.  
Глянешь в очищающую воду,  
Что спеша проносится у ног, —  
Вроде плавать не учился сроду.  
Ан поплыл на север чугунок.  
Мечется река в весенней силе,  
Городов не спросит на бегу:  
«Как вы столько грязи накопили  
На моем — на вашем берегу!»  
Не слышать, как Обь ночами плачет.  
И в слепой обиде на народ  
То снесет собачью будку дачи,  
То откусит целый огород.  
Мне тогда не жаль ни дач, ни грядок.  
Берег пусть уходит из-под ног,  
Если грязь диктует здесь порядок.  
И народ реке стареть помог.  
И за Обь обида вмиг пронзает,  
Слышу некий первобытный зык,  
Если к руслу жирно выползает  
Грязной свалки пакостный язык.

#### VI

Долго-долго всматриваюсь в снимок.  
Обь вросла ветвями в материк.  
Обь зовет к себе необъяснимо,

К берегу, где встретился старик,  
Где, преобразая захоlustье,  
Цветом яблонь в мае полон двор,  
Где мои слова находят устье,  
Попадая в нужный разговор.  
От вопроса дед не отстранится,  
Если я спрошу у старика:  
«А давно ли стала сторониться,  
Уходить от города река!»  
Но старик сердит — он весь на взводе.  
Странно — ничего не мастерит.  
Он стоит без шапки в огороде  
И кого-то крепко костерит:  
«Затянуло глиной пол-усадыбы —  
Не было

и на тебе — возник!  
Разузнать мне надо,  
Разузнать бы —  
Почему пробился тут родник!»  
Он твердит свое и повторяет.  
Я, стараясь в дебри не залезть:  
«Та вода, что город потеряет, —  
Отвечаю, — ищет выход здесь».  
Тонконогий, слабый, как опенок,  
Дед качнулся, выдохнул, сипя:  
«Город — что!

Он титешный ребенок!  
Чтобы делать прямо под себя!..»  
Жив еще такой герой в народе —  
Во хмелю решителен, жесток.  
Погудит по пьянке в огороде,  
Спустит пар  
и снова на шесток.  
Но старик шумел, не унимался,  
Дескать, нет. Не на того напал.  
Над скандальной нотой поднимался  
И все глубже, глубже он копал:  
«Ты еще не знаешь. Я рисковый.  
Я письмо составлю Терешковой.  
Напишу понятно и толково:  
Здравствуйте, товарищ Терешкова.  
Вот вы заседаете в Кремле.  
Над землей летали... Что ж такого  
Разглядели сверху на земле!  
Пусть рассеет деду мысли-тучки.  
Для того ли призваны мы жить,  
Чтобы Землю, доведя до ручки,  
Мы с Земли в галактику —  
фьюить!

Что же наше время подытожит!  
Кислота в реке, а в пойме шлак!  
Но река того терпеть не может,  
Прочь от города подальше отошла.  
Так и жизнь куда-то отстранится...»  
Я прервал неволью старика:  
«А давно ли стала сторониться,  
Отходить от города река!» —  
«Не застал я этого отхода.  
Это все случилось без меня.

Не видал Оби четыре года  
И, для точности, еще четыре дня.

Уходил

Текла у дома, возле.

Я через войну вернулся к ней.

Я изведаль — до войны и после

Мне река по-разному родней.

Все четыре года —

так уж вышло —

Переправы рвал и наводил,

Чтоб охотник до России пришлый

Наших чистых рек не замутил.

Шел тот самый бой «святой и правый».

Я шагал с другими не враздробь.

Приближалась с каждой переправой

Крестная моя — родная Обь.

Мы назад пришельца воротили.

К нам ходить со злобой —

Не моги!

Да вот сами реки замутили...

Что ж выходит —

Мы себе враги!

Может быть, не преврати планида

Те четыре года в пекло, в ад,

Не гуляла бы в Оби обида.

Город бы нашел с рекою лад.

А пока...

Пока не вижу лада.

Тут не лад, а форменный разрыв —

Ты смотри, уже свалил ограду

И ползет на яблони обрыв.

Я, старик, пока еще при силе,

Ездил к Лисавенке в институт.

Яблонь там таких понарастили!

Почему им не привиться тут!»

Сединой и правдой гневно светел,

Дед стоял напористый, прямой.

Он взмахнул рукой, и я заметил —

В недрах пятерни темнел привой.

С болью старика я соглашался

И досады не пытался скрыть.

Человек о жизни сокрушался.

Слушал я.

И нечем было крыть.

## VII

Все короче и короче ночи.

Берег вешним солнцем осиян.

Поспешают льдинки-одиночки

Прямо в ледовитый океан.

Сверху Обь на яблоню похожа,

Льдами ствол наполнен добела.

Но проходят льды, пути итожа

Где-то у подножия ствола.

На земле дробится лед и тает,

Солнышком апрельским разогрет.

Космонавт над Обью пролетает

И на землю шлет ее портрет.

Он ее весенней, сильной снимет —

Чисто в небе, и денек погож.

Только новый моментальный снимок

Так на предыдущий не похож.

Выращенный чуткими руками,

В Кулунду наводкою прямой

Ниже Барнаула — выше Камня

На Оби растет канал-привой.

Но витает близко тень Харона

У трубы «условно чистых вод».

Если сохнет и реддеет крона,

То виновен только садовод.

Говорю, что вижу, без охулки.

Город у ствола самой Оби

Малой ветки — речки Барнаулки

Под собой, прошу, не подруби.

Говорю ученым, инженерам —

Всем гримасам века вопреки,

Разработайте на зависть прошлым эрам

Тему долголетия реки.

Можно смело на потребу века

Ствол реки спрямить и искривить,

Но куда достойней человека

Ей привой бессмертия привить.

Не ищите трепетно-живого

В чертеже и в колбе днем с огнем.

Место для рождения привоя —

Только в сердце.

Только в сердце.

Только в нем.



Василий Тордоевич Самыков (Паслей Самык) родился в 1938 году в с. Каспа Горно-Алтайской автономной области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических книг «Сын солнца», «Сердце, раненное молнией», «Огненный марал», «Чейне» и др. Член СП СССР. Живет в г. Горно-Алтайске.

Паслей САМЫК

## РАЗГОВОР С ПОЭТОМ ЛЕОНИДОМ МАРТЫНОВЫМ

Я в Москве побывал в гостях у поэта.  
Славен, известен поэт Леонид Мартынов!  
«Вы алтаец! О, как интересно это, —  
говорил он, кресло ко мне пододвинув. —  
Сколько вам лет! Как вас зовут!  
Я рад нашей встрече и нашему разговору.  
Садитесь,

рассказывайте, как живут  
мои знакомые — Алтайские горы!»  
«Когда-то, — сказал он, — в шестнадцать

лет,  
я был страшно восторженный молодой

и вот я, представьте, в какой-то  
книге читаю

о том, как прекрасна природа Алтая.  
И вскоре я был уже в пути!  
Помню горы и реки,  
перевалы и переправы.

Много сотен верст мне тогда пришлось  
пройти  
с ботаниками, изучавшими

лекарственные травы!  
И с тех пор мне кажется: недра Алтая —  
словно шкатулка волшебная, золотая,  
в которой сокрыты от случайного глаза  
дивные камни,

дивные клады.  
А на крышке ее  
произрастают чудодейственные растения:  
золотой корень, маралий корень.  
Кто хлебнет их настоей —

будет крепко духом, настойчив, упорен.  
И недаром, помню, подумалось мне —  
так целебны ключи в этой горной стране,  
вот что, помню, подумалось мне тогда —  
здесь не сломлено,

неистребимо живет,

пробиваясь в грядущее сквозь года,  
небольшой, но мужественный народ.  
Добрый, славный народ, справедливый:  
не обидит завзя, не крадет,

не ругается,  
вся душа его в неторопливой  
речи,

словно цветок, раскрывается!  
О! Сейчас говорю я и вижу перед собой,  
как сияют с утра и до вечера,  
отражая шелк небес голубой,  
млечные

вечные  
глетчеры!

Склоны гор, поднимающихся к облакам,  
там цветами покрыты солнцеподобными,  
кошулята к воде склоняются там  
с глазами, как у алтайцев, добрыми.

Они пасутся на склонах гор,  
и я не видел нежнее красоты:  
у любого спина —

как звездный ковер,  
и ноздри, влажные от росы.  
Голубые туманы видятся мне,  
снежных гор караваны видятся мне —

будто еду я мимо их на коне!  
И я понял: в краю, где на всем скаку  
джигит арканом ловит коня,  
народ, познавший сто бед на веку,  
не зачахнет —

воспрянет под солнцем нового дня!  
Природу обожествлявший народ,  
народ-поэт, философ-народ,  
никогда не исчезнет,

никогда не умрет.  
И если в руки ты взял перо,  
стремись народу сделать добро,  
миру всему о нем говори,  
дерзай, работай, твори, гори!..»



Константин Иванович Козлов родился в 1919 году в Чувашской АССР. С 1947 года живет в Горно-Алтайске. Работал в областной газете, на радио. Автор поэтических книг: «В горах голубого Алтая», «Сартакпай-строитель», «Шумы, родная тайга», «В краю подоблачных гор» и др. Член Союза писателей СССР.

Константин КОЗЛОВ

## НОЧНАЯ ПЕСНЯ

Тлеют звезд золотые слитки,  
Лунный серп над степью повис.  
В пропыленной старой кибитке  
Пьем с Барлаем хмельной кумыс.

Вновь гляжу я на степь. Отсюда  
На сто верст мне она видна:  
Солончак вековой, верблюды  
Да колючая карагаана.

Облака проплывают стаей,  
Распростерся покой вокруг...  
Спой мне песню, прошу Барлая,  
Спой, пожалуйста, старый друг.

Спой любую мне на удачу...  
И Барлай, будто осень, хмур,  
Запеваает... И, скорбно плача,  
Тихо, тихо звенит топшур.

Я за песней спешу, внимая,  
Я, как путник, бреду за ней.  
И вот слышу в горах Алтая  
Свист арканов и всхрап коней.

И алтайцы бредут босые,  
На погибель в постылый край...  
Ты спаси их, спаси, Россия,  
Руку добрую им подай...

И встает на подмогу сила,  
Из России моей спеша...  
Ах, Барлай, сколько их вместила,  
Древних песен, твоя душа!

## БАЛЛАДА О ДЕВИЧЬЕМ ПЛЕСЕ

Маньчжурец одноглазый  
Чжао-Хой  
Разбойничал  
В урочищах Алтая.

Он убивал,  
Летя из боя в бой,  
Как черный вихрь,  
Все на пути сметая.

Сам богдыхан  
Ему благоволил  
Твердили, льстя,  
Надменные койоны:  
О, Чжао-Хой,  
Ты преисполнен сил,  
Украшь в походах  
Цинскую корону!..

Ревет в ущельях  
Бешеный Кумир  
И злобно бьет  
Волной на перекатах.  
Здесь сказками  
Овеян древний мир,  
Леса седые  
Тишиной объаты.  
С реки дымок  
Взлетает голубой,  
Алтын-Казык!  
Горит на небосклоне.  
С ордою мчится  
Грозный Чжао-Хой.  
От свежей крови  
Всхрапывают кони!

Но смело в битву  
Встал алтай-кижи<sup>2</sup>,  
И стар и мал  
Сражались с волчьей стаей.  
Шли в ход и камни,  
Пики и ножи  
За слезы<sup>1</sup> разоренного Алтая,

За все:  
И за бессонницу ночей,  
За горе,  
Что подтачивало силы!

<sup>1</sup> Алтын-Казык — Полярная звезда.

<sup>2</sup> Алтай-кижи — алтайский человек.

Дочь пастуха  
Красавица Мёрей  
На аргымака  
С саблею вскочила.  
Ее увидев,  
Вздроснула орда,  
Во сне такая  
Не приснится даже!  
Мёрей  
Неповторима и горда,  
Как злой тайгыл<sup>1</sup>,  
На стан рванулась вражий!..

В ущелье ветер  
Понизовый стих,  
Была гора  
Туманами повита...  
Мёрей топтала,

<sup>1</sup> Тайгыл — крупный сторожевой пес (алт.).

И падали маньчжурцы  
Под копыта.  
Когда же сил не стало,  
То Мёрей  
С горячим сердцем,  
Ненависти полным,  
Влетела в реку  
И, грустя над ней,  
Притихли враз  
Клокочущие волны.

Тайга пробита  
Тропами зверей,  
Цветет весной  
Маральник по откосам,

А место то  
Как память о Мёрей  
Поныне Девичьим  
Зовется плесом.



Иван (Таныспай) Боксурович Шинжин родился в 1936 году в с. Хабаровке Горно-Алтайской автономной области. Окончил Горно-Алтайский пединститут. В настоящее время — научный сотрудник научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Автор сборников стихов «Мы пришли», «Золотой порог», «Песни моей земли» и др. Пишет прозу. Член СП СССР.

Таныспай ШИНЖИН

### ВЛАСТИТЕЛИ МУЗ

Впервые покидал я край родной,  
И он прощался, как отец, со мной.  
Звенели реки:  
— Где б ни лег твой путь,  
О нас, голубоструйных, не забудь!  
Кивали головами мне цветы,  
Со мною хедры были все на «ты»,  
Любая падь прохладой звала,  
И каждая скала  
Своей была.  
Звенели птицы в синем ивняке  
Мне на своем весеннем языке.  
И, покрывая расставальный шум,  
Мне песни Улагаша пел топшур.  
Две звонкие жилы —  
Две его струны —  
Вели напев родимой стороны.

Как будто бы кайчи известный наш,  
Прощался сам со мною Улагаш,  
И верилось мне искренне:  
Вот-вот  
Услышу голос старческий его,  
И скажет он напустившую речь,  
Которую мне помнить и беречь.  
...И вот я в Казахстане.  
И добра  
Меня встречает песнею домбра —  
Меня встречает песней в первый раз  
Топшур — всеизвестная сестра.  
Она поет мне каждую струной,  
Что стал счастливым край ее родной,  
Каким за все минувшие года  
Еще и не бывал он никогда.  
И звуки, что торжественно звенят,  
Переполняют радостью меня.  
Мне кажется,

Что в ясном свете дня  
Акын Джамбул приветствует меня.  
И верится мне искренне: вот-вот  
Услышу голос ласковый его,  
Что обратится он из давних дней  
С приветным словом к родине моей,  
К земле моей,  
К народу моему.  
И я несмело подпою ему.  
...А в Киргизстане.  
Как хозяин муз,  
Меня встречает песнею комуз.  
Здесь величальную поет комуз  
Алтайскому народу моему.  
Потом рокошет каждую струной  
Про свой прекрасный Киргизстан родной.  
Поет про реки шумные его,  
Поет про горы синие его.  
Я слышу в каждом звуке торжество,  
Я слышу в каждом слове

торжество,

И кажется,  
Что на исходе дня  
Сам Токтогул поет здесь для меня.  
...И вот я возвращаюсь в край родной.  
Густая дымка виснет надо мной,  
Кивают головами мне цветы,  
Со мною кедры говорят на «ты»,  
Меня встречает каждая скала  
С гнездовьями сапсана и орла,  
И лес поет мне синий у горы  
То голосом комуза, то домбры.  
Как будто в наши светлые края  
Сошлись сегодня братья и друзья.  
А я, а я все думаю о том,  
Что в этом мире, солнцем залитом,  
Звучат властители святейших муз:  
Топшур, домбра  
и песенный комуз.

А я, а я все думаю сейчас  
О том,  
Что будут вечно среди нас,  
Пока мы живы:  
Улагаш,  
Джамбул  
И соловей Тянь-Шаня Токтогул.

Перевод Г. Володина

## ГОРНОЕ ЭХО

Когда в горах родных стою —  
Душа с печалью расстается...  
Я песню звонко запою,  
И эхо песней отзовется.  
Но странный голос донесет  
Не тот напев, что создан мною,

А песню ту, что мой народ  
Здесь пел с печалью вековой.  
Стою среди знакомых скал  
И слышу гул громад кремнистых.  
Когда-то прадед мой стоял  
На этих кручах каменистых.  
Он пел о жизни и нужде  
Народов Горного Алтая...  
Доносит эхо песни те,  
Забывшим душу наполняя.  
Сегодня — сын страны родной —  
Пою я о труде и мире.  
Разносит эхо голос мой  
В горах все громче и все шире.

Перевод А. Ревенко

## СТЛАНИК

Кедровый стланик цепок и колюч.  
Он все заполнил на перевале.  
Немало облаков  
И сизых туч  
Об этот стланик  
Платья изорвали.  
Немало в нем увязло навсегда  
Косматых вихрей,  
Черных ураганов.  
Об этом знает горная грядя,  
Об этом помнят скалы-великаны.  
Но стланик не возносится совсем  
И никогда  
Не метит в исполины.  
Пусть он всегда  
На главной полосе —  
Он не стремится в тихие долины.  
Он, заслоняя щебет птичьих гнезд,  
Встречает первым грозы  
И ненастья,  
Оберегает молодой подрост  
И в этом видит собственное счастье.  
И знаю я:  
Вот здесь,  
На высоте —  
Труднодоступной,  
Гердой,  
Нелюдимою —  
Всегда,  
Как будто сказочный Алтай,  
Берет он силы у земли родимой.  
Как на него похож ты,  
Мой народ,  
На этого жильца высокогорий!  
Из года в год  
С природой в вечном споре  
Он силы у земли своей берет.

Перевод Г. Володина

Борис УКАЧИН

## ТУЛААН — МЕСЯЦ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Март, как известно, первый месяц весны. По-алтайски он называется Тулаан, то есть месяц Возрождения. Действительно, в это время вся природа оживает, и все растет, тянется к солнцу — травы, деревья. О месяце Тулаане в моем народе бытует много интересных пословиц и поговорок. Есть и такая, например, притча, что в это время пробуждаются семь слепцов подземного мира, при этом имеют в виду кротов, сусликов, сурков, барсуков, медведей и других зверей, которые спят всю долгую и холодную зиму.

Месяц Возрождения. Он опять возвратился в наши горы, будоража и незаметно обновляя землю. В это время как-то легко дышится. Хочется высоко и гордо поднять голову, удивленными глазами смотреть на мир и в прозрачное небо. Земля изо дня в день набирает свежую силу, и в твои жилы вливается чувство новизны. Ведь во дворе месяц Возрождения. Не так просто он прибыл к нам. Он же очередным своим явлением должен возродить что-то, открыв заново мир, радовать нас, людей, так долго ждавших весну, начинающуюся со сказочного Тулаана.

Об этом месяце с символическим названием я не зря так подробно говорю. Если на Тулаан-месяц смотреть через годы и жизнь, через пути развития алтайской литературы, то он самыми тесными узами связан с рождением и многотрудной жизнью замечательного кейчи-сказителя Николая Улагашевича Улагашева, имя которого в Горном Алтае произносят с уважением, ставят высоко.

Недавно, просматривая свой архив, я случайно обнаружил пожелтевшие бумаги — рукопись радиоочерка о Николае Улагашеве. Слава его с годами не гаснет, а, наоборот, обретает все больший общественный резонанс.

Помнится, на одном из литературных вечеров, посвященных жизни и творчеству Улагашева, читали стихи, говорили добрые слова, адресованные Николаю Улагашевичу. Интересную мысль высказал тогда наш гость Марк Юдалевич: «Март, оказывается, действительно имеет обновляющее значение не только в алтайской природе, у месяца Возрождения огромная заслуга еще и перед алтайской литературой. Если хотите, то скажу я, что перед всей новью и культурой алтайского, возрожденного Октябрем, народа. В этом месяце в долине

Сары-Кокша родился великий сын небольшого по численности алтайского народа — Николай Улагашев! Разве это ни о чем не говорит!»

И предложил в марте проводить Улагашевские чтения.

Теперь, вот уже несколько лет подряд, они проводятся успешно и широко. На них побывали многие гости — литераторы и ученые братских республик, областей.

О жизни и творчестве Николая Улагашева не так-то много написано. В свое время его творчеством и судьбой интересовались Павел Кучияк, Афанасий Коптелов и Сазон Суразаков. Анна Гарф — фольклористка из Москвы — об Улагашеве упоминает лишь в связи с алтайскими сказками, которые она переводила на русский язык. Нам неизвестны, например, подробности бытовой жизни сказителя. Каков был его характер, голос, каковы его привычки, чем он интересовался, что его привлекало более всего? Нет напечатанных воспоминаний о нем его родственниками и близкими. Знаем, что родился он в 1861 году в Сары-Кокше, а в середине тридцатых годов встретился с нашим писателем и первооткрывателем Павлом Васильевичем Кучияком, затем переехал жить в город; за свои героические сказания о борьбе богатырей против кровопролитных войн и различных несправедливостей он одним из первых в Горном Алтае был награжден орденом «Знак Почета». Вот, в сущности, и все сведения, которыми располагает нынешний читатель. А жаль. Ведь то, что было утеряно, забыто вчера, трудно восстановить сегодня, и еще труднее будет это сделать завтра, через годы. К сожалению, касается это не только Улагашева. В нашей литературе и в архивах области нет воспоминаний о зачинателе советской алтайской литературы Павле Васильевиче Кучияке. А надо бы помнить всегда о том, что человек не вечен! Вечна только память о человеке, о его добрых деяниях... Мне думается, что пока здравствуют, ходят среди нас и работают, почти ежедневно общаются с нами дочери и сыновья Павла Кучияка, следовало бы не медля начать сбор нужных документов, других материалов и воспоминаний о писателе, чтобы потом не сказать: опоздали. Также пора бы уже подумать и о сборе материалов о жизни и творческом пути другого нашего писателя — Чалчика Чу-



нижекова, поэта и прозаика Лазаря Кокышева, ученого и литератора Сазона Саймовича Суразакова. Время идет. А настоящих очерков-эссе об этих писателях и общественных деятелях алтайской культуры и литературы пока нет. Исключением является документальная повесть Аржана Адарова «Дорога в большой мир», посвященная Лазарю Кокышеву. В народе, видимо, не зря говорится, что одна голова хороша, а две лучше. Воспоминанием лишь одного из нас все же трудно, мне думается, воссоздать живой и полнокровный образ того или другого человека, даже если он был твоим лучшим другом и братом. Что-то, безусловно, упустишь, где-то останется вне поля твоего зрения.

Возвращаясь к личности сказителя-кайчи Николая Улагашева, вот о чем хочу рассказать. Десять лет назад я работал в областном радиокомитете. Мне как литератору поручили сделать радиопередачу о Николае Улагашеве, этом удивительном и мудром слепце. Слепота и книги, безграмотность и мудрость — как все это сочеталось в нем? Мне захотелось найти и сказать о нем свое слово, выразить личное отношение к нему. Но с чего начать, как сделать это интересней?.. В фонотеке областного радио не сохранилась пленка с голосом кайчи. Куда там! Очевидно, тогда было еще труднее записать и сохранить кай — древнейшее искусство горлового пения, кстати, сохранившееся не у многих народов нашей страны. Наш кай — это не такой, скажем, как у тувинцев, у которых лишь воспроизводится музыкальный речитатив посредством горлового пения. Кай алтайского сказителя-кайчи непременно сопровождается рассказом-сказанием о бесстрашной борьбе богатырей за правду, против несправедливости и черного зла. Вся сложность исполнительского искусства алтайского сказителя-кайчи заключается, на мой взгляд, в оркестровой многозвучности. Имея под рукой лишь один музыкальный инструмент — двухструнный топшур, волшебством собственного голоса всего один человек умудряется передать звон и ярость мечей, богатырских доспехов, пение птиц, шелест трав и листьев, топот коней и т. д.

Делать о жизненном и творческом пути кайчи радиопередачу без его живого голоса, не используя каких-то других записей, документальных рассказов, немислимо. Заранее ясно, что такая передача будет скучной, вероятнее всего, никого не заинтересует. А как быть? Много ли осталось живых свидетелей, близко знавших моего героя? И тут-то я вспомнил учительницу Чолушманской средней школы, что в Улагачском аймаке, внучку великого старца-сказителя Лидию Иннокентьевну Улагашеву. Школа, где она работает, находится недалеко от знаменитого Телецкого озера; на левом берегу впадающей в озеро большой горной реки Чолушман стоит селение с веселым названием Балыкчи, что значит «рыбак». Туда можно добраться только вертолетом. А почему бы не полететь?.. Так я прилетел в Чолушман, вернее, в село Балыкчи, и встретился с Лидией Иннокентьевной Улагашевой. Она охотно

вспоминала, со знанием дела рассказывала о своем дедушке и о том, как училась сама на тогдашнем рабфаке.

И вот нынче, в месяце Тулаан-Возрождения, ровно через десять лет, среди своих бумаг я обнаружил текст той радиопередачи. Смотрю, конечно, с интересом и полагаю, что запись та не утратила своего значения. Только жаль, что на русском языке трудно мне передать всю прелесть, неповторимость и поэтическую красоту речи рассказчицы Лидии Иннокентьевны Улагашевой, не говоря уже о диалектной особенности, которая, на мой взгляд, как-то детализирует и показывает языковое своеобразие кокшинских тубаларов.

Итак, используя воспоминания внучки Н. У. Улагашева, решил я размышлять о личности удивительного сказителя, о нашем времени.

Вот как это было.

**Л. И. Улагашева:** — Когда имя моего дедушки приобрело широкую известность, в народе распространилась прямо-таки фантастическая и странная молва: что, мол, в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск) живет кайчи Улагаш, у которого полный дом богатств, все долины Алтая заполнены лишь его белым скотом... Куда там, какое богатство у дедушки моего, какой там белый скот! Голодранец, как говорится, вот и все. Видать, люди, многократно слушая его имя, по привычке думали, что появился какой-то новый бай, поскольку раньше так громко восхищались только богатствами баев да зайсанов... Неожиданно обрушившаяся на его седую голову слава — вот и все его богатства, — громко смеется Лидия Иннокентьевна и как-то озорно и моллодо смотрит на меня. На широком лице сияет радость, а глаза изучающе пристальны, остры.

Подсказываю:

— Так, продолжайте же, Лидия Иннокентьевна, идет запись вашего рассказа.

**Л. И.:** — Деда своего я помню с малолетства. Примерно с четырех лет. В то время мы жили в Паспауле. Слыхали, в Чойском аймаке есть такое селение небольшое? А дедушка жил отдельно, в другом месте, в Сыгын-Тале. Сыновья его Сарыбей-ага и Карман-ага были тогда живыми и здоровыми. Они сопровождали деда, когда тот пожелал приехать к нам в гости. При каждом приезде дедушка нам привозил кедровых орехов, медвежьего сала и толкана — муки из жареного ячменя или пшеницы. Он любил угощать. Нет, я все помню. Даже хорошо помню!..

— А где он брал все это? — спрашиваю.

**Л. И.:** — Кедр, что ли, перевелись в Сыгын-Тале, где в то время жил дед? Дедушка был слепым, но лазать по кедром — такого искусного и ловкого мастера трудно было найти. Подымысь на лубой кедр осенью, покачай его крепко, стукни ногами по сучьям — и тут же на землю посыпятся переспелые шишки. Дедушка был очень сильным человеком... Кроме того, хотя и не очень-то много, но все же по две коровы держали они, дедушка и его дети. Значит, молоко имелось, сырчик алтайский тоже. Из чеген-ай-

рана, квашенного до определенного качества молока, как все алтайцы, варили араку. Надо сказать, что дедушка очень любил алтайскую араку. Это же сок чистейшего молока! Помнится, не раз говорил и радовался дедушка, отпивая из деревянной пиалы, сделанной из нароста березы. А мои братья, Сарыбей-ага и Карман-ага, коль не охотиться им на медведей да на других зверей, чем же еще заниматься?.. Вот и охотились. Убивали и медведей, и волков, и маралов, прочих малых и больших зверей. У деда и старшего сына его была в Сыгын-Тале небольшая юрта, крытая белым войлоком, рядом с которой стояла крохотная избушка. А в нашем Паспауле жили русские и алтайцы. Смешанное население, дружное.

Лидия Иннокентьевна — человек общительный. Долгие годы работая учительницей, привыкла — это заметно сразу — говорить четким и ясным голосом, не торопясь и доходчиво. Слушая ее рассказ о своем деде, я про себя отмечаю ряд интересных слов, мне до сих пор неизвестных, во всяком случае в алтайском литературном языке таких редких слов и оборотов почти нет. От них современные литераторы и журналисты отказываются. Конечно, зря. Надо их знать и уметь использовать. Иногда одно-единственное слово восстановит, расскажет, нарисует много... Как хорошо, что в наше время имеются различные записывающие аппараты! Вот и мой «Репортер-6» работает вместе со мною, записывая все, что говорит Лидия Иннокентьевна.

**Л. И.:** — У дедушки были два ооloch, т. е. два сына, и одна дочь. Яндю-ага и мой отец Иннокентий. А единственную дочку — сестру мою по отцовской линии — звали Сырга. Сырга-эде была доброй и красивой. Красивой не только душой...

— Когда приезжал к вам дедушка, какие люди собирались в вашем аиле, всегда ли кайларил Николай Улагашевич? — интересуюсь.

**Л. И.:** — Понимаю-понимаю... Этих дней забыть нельзя. Просто невозможно! Как только соседи заметят у нашей коновязи дедушкиного без единой отметины черного коня и коней моих братьев, будто по команде направятся все к нам — и старики-старушки, и девушки, и парни. Придут к нам, как на большой праздник, красиво и чисто оденутся. Если это случится зимой, то в избе жарко и тесно. В железной печи трещат дрова. Кай дедушки, сопровождаемая глуховато-древним звуком топшурра. Коль он приехал летом, то в юрте будет большой огонь. Красное пламя, красные лица. Гудит пламя, гудит дедушкин голос. Всегда было так. Пока он находится у нас, в нашем доме будет звенеть мелодия кая. Неизменный черный казан — котел — будет кипеть на очаге. Различные рассказы и разговоры будут продолжаться и длиться день и ночь. Всегда так.

Дедушка всегда гостил у нас где-то около недели. Нас, жителей Чойского аймака, зовут тубинцами. Есть такой диалект у нас — тубаларский. Так вот все тубинцы,

или тубалары, Паспаула соберутся к нам, пока дедушка находится тут. Дед наш, как очаг или костер какой-то. Сидят вокруг него, словно греются. Следят за его лицом, как птенцы, ожидающие вкусной пицци.

Люди иногда забывали, что уже на дворе настало утро, также не замечали, как давно землю накрыла темнокрылая ночь, слушая богатырские эпосы об Алтай-Буучай-батыре и Алып-манаше. А мы, особенно девушки, любили слушать «Сынару» — горькую сказку о девочке-сироте, о ее сначала тяжелой, а под конец радостной судьбе. Дед сперва рассказывать начинает, потом возьмет топшур и густым, завораживающим голосом начнет кайларить. Слушая эту удивительную сказку, раньше всех не сдержат слезы, конечно, женщины, какая-нибудь старушка, а вслед за ней мы, девушки... А дедушка словно забудет, что вокруг него сидят люди, еще сильнее начнет петь. Забыв нас, как говорится, начнет, он совсем уйдет в страну своих сказаний. Да, он забывал о нас. Бывало, тут же начнет вести какие-то разговоры и беседы с героями-батырами своих же сказаний. Удивительное дело!.. Он глубоко верил всему, что происходило в сказках. Сколько раз видела я своими глазами, как страдал и плакал мой дед о тяжелой судьбе, о страданиях и гибели добрых батыров. Бывало, и радовался, как ребенок, когда побеждали его богатыри, воскресали, живыми, радостными возвращались к родным очагам в «солнцеподобный солнечный Алтай». В честь победы и счастья своих героев дед непременно выпивал пиалушку алтайской молочной аракки. Да, да... За правду он болел и страдал, за ложь и коварство тоже болел и страдал. Но любил повторять всегда за Сай-Солонг-батыром, победившим злого Кара-Кулу: «Под рзаной шубой бедняка может оказаться храбрый богатырь, под старым алтайским потником может оказаться крылатый аргмак».

Сказитель-кайчи Николай Улагашевич Улагашев родился 17 марта 1861 года в долине Сары-Кокша. Об этом знает, видимо, каждый школьник Горного Алтая. В 1946 году, когда ему было 85 лет, он умер в Ойрот-Туре. Долгая была его дорога, но и горе его не меньше длилось. Шестнадцать лет он ослеп от трахомы.

С 1937 года Николай Улагашев стал известен как кайчи-сказитель Горного Алтая. Потом слава его разнеслась по всей Сибири. Его переводят такие поэты, как Илья Мухачев, Елизавета Стюарт, Александр Смердов. Эпические песни Николая Улагашева стали печататься на страницах журнала «Сибирские огни», о нем писала «Литературная газета», журнал «Октябрь» в двух номерах за 1939 год напечатал большой очерк Павла Кучияка «В гостях у кайчи».

— Много ли сказок вы знаете? — однажды спросили у кайчи.

— Много! — ответил сказитель и после некоторого раздумья уточнил: — Больших поэм знаю десятка три, а простых сказок, пожалуй, более сотни.

Все ли эти сказки записаны сегодня?

Нет, к великому нашему сожалению, не все. В некоторых случаях к сказкам и сказаниям великого кайчи прикасались руки не очень-то опытных и даже не любящих сердцем поэзии людей. Их записи в свое время не были напечатаны. Таким образом они забылись и с годами растерялись.

Где они, эти сказки, теперь?.. Как знать, может быть, где-нибудь какая-то из его сказок лежит как самородок ненайденный. Друзья, поищите, покопайтесь в различных хранилищах и архивах, среди своих личных бумаг, вдруг вы наткнетесь на одну из сказок мудрого старца-алтайца!

Л. И.: — Да, не секрет, что дед мой знал много сказок и больших поэм. Иногда он — во время большого вдохновения, что ли, — с утра и до утра не смыкая глаз, мог кайларить. Удивительно, он никак не поддавался тяжести и сладости сна...

Вот дедушка начнет собираться домой. Тут опять придут соседи. Они никогда деда не отпустят без подарков. Где там!.. Переметные сумы наполнят ячменем и пшеницей. Дадут на дорогу, чтобы в пути, как говорили провожающие, смачивал горло, ташаур — кожаный сосуд, наполненный аракой.

У Карман-ага светло-серый конь. Поскольку он являлся всегда проводником, ехал впереди. А у моего дедушки конь чисто вороной масти. Черный, как бархат. Шерсть его, отдохнувшего за время, пока хозяин находился в гостях, сверкала под лучами солнца, как ворс черной выдры. Смиранный был конь, большой и сильный. К тому же — быстроходный. А дед мой был человеком крепкого телосложения. Широкоплечий и высокий. Руки его были, помню очень хорошо, длинные, а ладони большие, широкие и твердые, как кедровая кора. Бывало, натворишь что-нибудь, а дед старается длинными руками ухватить тебя. Ведь у слепых глаза заменяют руки.

Кажется, стоял 1928 год. Да, так. Мне — шесть лет. В это время мы из Паспаула перекочевали опять в Сыгын-Тале. Думаете, тогда в Сыгын-Тале жили люди гурьбой, в одном месте?.. Нет уж, совсем не так. У каждой семьи — свой изблюбленный ложок. Свои покосы. Причем все мы делились по родам — сеокам. В одном логу — комножи, в другом — дюсы и т. д. По соседству с нами жили Акпыжаевы из рода дюс. А сыновья дедушки жили в своих юртах, отдельно. Все были женаты. Гостей и там бывало много. Приезжали отовсюду, через броды больших рек, из-за высоких гор... Собирались, как ни говори, специально для того, чтобы послушать кай моего дедушки. Приезжали из Куюм-Бажи, Толгоека и других далей. Я забыла вот о такой детали: дедушка летом кайларить не любил. Очень редко пел. А вот настанет зима — дело другое. Он пел по ночам и при этом говорил, что укорачивает длинную шею скрипучей и злой зимы. А потом в Сыгын-Тале началась коллективизация. Мы опять в Паспаул перекочевали. Мой отец, став членом колхоза, работал на вытравливаниях серы из еловой коры. Там же, в местечке Арок, он также гнал деготь. Сарыбей-ага и Кар-

ман-ага в это время жили и работали в Бирюлинской артели...

— А где жил ваш дед?

Л. И.: — Дедушка до самого тридцать седьмого года жил у нас. Но не подумайте, что был иждивенцем. Наоборот, он нам помогал. Дед любил работать. Был шорником, колхозу мастерил узды и шлеи, седла. Председателем нашего колхоза был Ермила Болотов, который очень любил деда и помогал во всем.

Как, спрашиваете, назывался наш колхоз?.. Тогда длинных названий колхозам-совхозам, как сейчас, не давали. Наш колхоз «Тан-Чолмон», а по-русски «Утренняя Звезда». А у Ыжи-Бажи, где располагался этот крохотный колхоз, земля была жирной и богатой. Скажу — непочатый край! Хочешь — держи и корми скотину, хочешь — паши землю, сей и выращивай ячмень для талкана. Там колхозники держали и оленей. Огромный и высокий был загон для них. Он необъятным кругом обходил большую гору. Помните, мы любовались оленями... Нашими соседями были Мекийт Сеулеков, Василий Батканов, Санат Кардаев. Хорошие люди. А их дети были молодыми. Все они — и старшие, и младшие — приходили к нам. Подолгу сидели, молча ожидая, когда дедушка возьмет в руки свой двухструнный топшур. А иной раз тихо мне на ухо шептали: «Лида, поговори с дедушкой, пусть нам расскажет новую сказку или ту, которую в прошлый раз не успел закончить...»

Смех и горе! Я до сих пор удивляюсь, как может слепой человек «увидеть», что я в середине сказки вдруг начинаю засыпать. Поэтому дед, прежде чем начать сказку или кайларить эпос, всегда подтрунивал надо мной: «Нет, я такой ленивой внучке не буду сказывать сказки. Она всегда спит. Не люблю засонь...»

Нас в семье было всего пятеро — четыре девочки и один мальчик. Младшую звали Зоей. Дедушка всех больше и сильнее любил самую младшую дочку своего сына Зою, очень жалел ее и баловал. Они всегда ходили вдвоем в магазин. Сестричка моя держалась за дедов посох. Они приносили пряники, печенье и конфеты. Ох, какие сладкие! Теперь, кажется, таких нет... Так мы жили и росли.

Я спустилась с гор в Ойрот-Туру. Город! Столько тут людей, лучше молчи... Кружилась голова, трудно среди них ходить, конечно, после тишины Сыгын-Тала. Я поступила в рабфак и стала там учиться. Вот в эти самые годы деда привезли в город. Его, как говорили тогда, словно про иголку, нашел в урочище Чойско-го аймака писатель Павел Кучияк. Говорили, что сказки деда «подошли законом» нашей новой власти.

— Теперь, Лида, Иннокентьевна, расскажите, пожалуйста, о городском периоде жизни деда.

Л. И.: — Понятно. Расскажу, конечно. Когда дедушка переехал в город, я к нему прибегала не раз и не два. И мой отец, и другие дети — внуки и внучки — бывали у него часто.

Никак не могу забыть, как деда отправляли в Москву, чтобы вручить ему там

орден. Говорили, что сам Михаил Иванович Калинин даст ему орден. Не вручал, как все говорят, а дал. Об этом много шло разных толкований и разговоров по городу и по всем аймакам области. Как не быть разговорам-то? Ведь не каждый же день награждают, тем более таких стариков, каким был мой дед. «Знак Почета» — хороший орден, почетный орден. Мы брали его в руки, любовались и бережно гладили ладошками. Но в это же время недоумевали, почему об этом так много толкуют. Казалось бы, ничем не отличается, например, от значка МОПР (тогда были такие значки — международной организации в помощь революции), а разговоров-то... Но нам терпеливо объясняли, что, мол, это великий почет, большая, небывалая в жизни бывшего алтайского бедняка честь и радость. Если хочешь иметь значок МОПР, пожалуйста, вступи в организацию — и у тебя такой будет...

Дед мой жил у Павла Васильевича Кучияка. Его дом и очаг стали как собственными. У него, у Кучияка, была большая семья. Вот прибавился дед, да еще приходили к нему гости из Чои, родственники, внуки и внучки вроде меня... Уму непостижимо, как только тогда писал и работал сам Павел Васильевич Кучияк! Причем когда мы приходили к ним целой гурьбой, никогда не смотрел на нас косо. Кучияк был всегда веселым и общительным человеком. Мне запомнился он гостеприимным и остроумным. Да, если бы не Павел Васильевич, откуда моему дедушке дать орденоносцем и таким знаменитым! И потому для моего деда дороже, мудрее, грамотнее Кучияка не было человека. И на самом-то деле особенно тогда лишь один был такой человек — сам Павел Кучияк!..

Когда дедушка уезжал в Москву, я провожала его до городской пекарни. Широкая спина деда все удалялась, а я стояла и плакала. Мне казалось, что дедушка едет «насовсем», что он больше к нам не вернется...

С ним поехала сестра моя Уренчи. Сопровождал сказителя до самой Москвы и обратно Василий Конышев, один из интеллигентных и грамотных людей того времени.

Уренчи — старшая дочь старшего сына дедушки. Они уехали, а я все стояла на том же месте. Под ногами мокрая весенняя земля, сияло солнце, таяли снега...

Прошли дни. Однажды, когда я пришла в рабфактовскую столовую, подруги мне говорят:

— Лида, в газетах напечатали карточку твоего деда! Стоит, как живой. Иди глянь...

Смотрю. Правда! Мой дедушка! Он же смотрит на меня! Оказывается, сфотографировали его на ступеньке вагона, в котором он ехал. В черном пальто, в такой же черной шляпе. Мне теперь думается, что, глядя именно на этот снимок, люди придумали ту самую легенду о сказителе-богаче.

Вернувшись из Москвы, дедушка оставился в ойрот-туринской гостинице и некоторое время жил там. Мы ходили к нему в номер. Дедушку моего как боль-

шого кайчи-сказителя кормили белым хлебом. Ясно, и мы лакомились. Но как бы ни был белым и пышным хлеб, дедушка оставался все равно недоловным. Говорил, что нигде не найдешь сытнее и вкуснее пищи, чем талкан. «Коче (национальный мясной суп-харчо) сварили бы мне сейчас. Кто бы приготовил коче в этом паршивом городе Ойрот-Турел!» — нервничал и жаловался старик. А мы с Уренчиде, слушая его, удивлялись и смеялись. Не может быть, чтобы алтайский талкан был лучше белого хлеба! Может быть, дедушка шутит с нами, хитрит?..

— А вы сами не попытались записывать сказки своего дедушки?

Л. И.: — Дед жил на улице Ойротская, 22. Хотя туда я ходила часто, но в голову даже не приходило, чтобы самой заниматься сказками. Да он и рассказывать-то мне не станет. Такой, как я, доверял бы старик! Ему подай такого, как Кучияк...

Через некоторое время после того, как дедушка вернулся из Москвы, дали ему отдельную квартиру. В одной из комнат, тут же рядом, жила секретарь, записывающая его сказки. А Кучияки, кажется, стали жить на Карагужинской улице.

Я хорошо знала Роголеву Анфису... Анфису Сергеевну — девушку, которая записывала сказки деда. Она училась в педучилище. Красивая была, стройная, большешелазья. Простая и разговорчивая. Много читала, много знала. Сама из Чулушманской долины. Ее родина стала моей родиной.

Анфиса Роголева сразу же понравилась дедушке. Видимо, она имела такой подход. К тому же у Физы хорошая память. Слушала деда и запомнила сказку. Слово в слово. Потом переносила все на бумагу. Старый сказитель к ней относился ласково. Старался медленнее и доходчивее говорить, когда Физа начинает записывать. А старик был вообще-то с характером. Даже упрямым! Кто ему не по душе, хоть что делай с ним — рот не раскроет. Или нарочно начнет говорить быстро-быстро, чтобы потом сказать, почему, мол, плохо записываешь. Свообразный повод для отказа от дальнейшей работы: «Что у тебя, дырявая голова? Нет, я не нуждаюсь в человеке, у которого голова, как сито!»

Конечно, после этого сама не захочешь работать с таким задиристым и вредным стариком.

А Физа умела работать быстро и бережно. Я не один раз слышала, как хвалил дед ее при повторном чтении своей записи. «Наша Физа, — говаривал дедушка громко, — умница! Ни одного моего слова не уронила и ни одного от себя не добавила. Вот молодчина — якши! Нельзя, грех исказить жизнь батыров, дочка. Позорить святых батыров никак не можно! А ты якши — хорошо пишешь!»

Роголева под диктовку деда, с его слов записала много поэм. Они почти все изда- ны.

Закончила она педучилище и уехала работать. После этого секретарем дедушки стал, в то время студент (впоследствии ставший доктором филологических

наук и профессором), Сазон Саймович Саруразаков. И Александра Федоровна Саруева, ставшая известной поэтессой Горного Алтая, записывала сказки Николая Улагашевича Улагашева. Тогда Саруева была тоненькой девчушкой, стройненькой и остроглазой.

Началась кровавая война. В то время Александра Федоровна, наверное, была уже в Ленинграде. Училась там... А секретарем деда стала другая... Маскачакова Бабадай. Я и ее хорошо помню. Муж ее был русским человеком. С интересом и любопытством я слушала имена детей Бабадай Маскачаковой. Кажется, у нее были все сыновья с чисто древними именами — Мамай, Батый... Кроме них, и другие дети, кажется, были у нее.

Бабадай была доброй женщиной. Но вся беда в том, видать, что она не умела записывать. Дед отказался от ее записей. Коль он отказывается, стало быть, ни одна редакция ими не заинтересуется. И потому записи ее отдельными книгами на свет не появлялись. Отсюда тот же вывод: сказки-поэмы так и растерялись. Жалко, конечно... Возможно, что в них-то и заключены еще какие-то новые страницы нашего богатого и нескончаемого эпоса.

— Можно предположить, что Бабадай жива?

Л. И.: — В том-то и беда — умерла она... давно умерла. Кажется, в Эликманаре живет кто-то из ее детей. Кому, скажите, нужны какие-то старые записи, тем более на разных клочках бумаги и между строчками старых газет?

— Видно, что дед был человеком действительно строгого характера.

Л. И.: — Не говорите даже!.. Он был и строгим, и ласковым. Как только я приду с рабфака, перешагну лишь порог его дома, он тут же позовет: «Подойди сюда, дочка-кызым». Что ему делать, коль глаза не видят, он погладит меня осторожно, «просмотрев» таким своеобразным способом, вздохнет глубоко и непременно добавит: «Законы Советов учат тебя, балам. Если не хочешь быть темной, то старайся, учись хорошо, не ленись...» Потом выдвинет ящичек стола, достанет оттуда деньги и даст мне. Покормит белым хлебом. Чтобы выучить меня, дедушка сильно старался и ничего не жалел. В те трудные годы, если бы не помощь дедушки, мне не закончить бы рабфак!

— На вашей родине, я имею в виду Чойский аймак, много ли было сказителей, подобных Николаю Улагашевичу Улагашеву?

Л. И.: — Таких, как дедушка, не знаю, может быть, и были. А вообще сказителей в наших местах, в нашей чаще раньше, говорят, было много. Думаете, что дед мой сам по себе на пустом месте вырос таким знаменитым? Конечно, сперва он слушал других кайчи, принаравливался к ним, учился у них. Но тем не менее о нашем роде шла молва, что мы потомственные, от самого кудая — бога кайчи. Отец дедушки был тоже сильным сказителем-кайчи. Он прежде был славен в нашей кедровой чаще. Но последним сказителем из нашего сеока-рода был и остался мой

дед — Николай Улагашев. Как бы он (сметается) с того света не явился к нам, чтобы поругать за такое беспокойство. Тут (опять смеется) наши сердца лопнули бы, как детский шар... А сюда ближе, например, его сыновья не кайларили, да и не старались брать в руки топшура...

У алтайского кайчи Николая Улагашевича Улагашева мудрое было сердце, волшебное и поэтическое. Он с малолетства боролся за свою правду, не боялся и ни перед кем не прятался за свое слово. Свидетелем тому является, например, очерк Афанасия Коптелова о талантливом сыне алтайского народа, предвещающий один из сборников героических сказаний.

Однажды в долину Сары-Кокша приехал зайсан Сапрок со своей свитой из самых богатых баев. Все они были пьяны. Зайсан потребовал к себе Н. У. Улагашева: «Пусть поет самое хорошее. Скворцы своим пением славят тайгу. Умные певцы славят старших».

Но Улагашев ответил зайсану: «Мои песни горьки». — «Гой и такие. Посмотрим, что за яд в них. Не будешь петь, в проводники возьмем, заставим дорогу показывать».

Улагашев молча сел на коня, конь вышел на тропу впереди всех всадников. Кайчи повернул голову и крикнул во весь голос: «Слепые не могут обходиться без поводырей! Но если слепого берут в поводыри, значит, есть люди слепее слепых...»

Улагашев всегда оставался Улагашевым. Талант и доброта, как видно, крепкими узлами связаны с мужеством и отвагой певца.

Л. И.: — Да, был он таким. За словом в карман не полезет. Острозыкий. Но иной раз и не пикнет, как говорит. Упрямства тоже не лишен. Молчание его длилось долго, коль на что-то обидится. Любил точность и прямоту. Особенно если дело касалось его колхозного труда и заработка. За шорничество ему начисляли трудодни. Мало доверял другим. Имел дело только с самим председателем артели... Есть доля правды о прижимистости деда, к сожалению, есть.

Как только он начнет кайларить-петь, нельзя его останавливать, прерывать. Дело твое, как хочешь записывать! Иначе превратится в скалу и будет молчать. Прямо скажу, труден был путь к его сердцу. Но зато как разговорится, сумеешь открыть его душу, — веселее и добрее не найдешь человека. А какой у него голос! Сильный, бархатистый. Мне самой приходилось слушать его уже взрослой не один и не два раза. Дыныне я голоса такого больше нигде не встречала. Когда училась на рабфаке, иду, бывало, к зданию областной почты и невольно настораживаюсь, чтобы услышать кай деда. А от почты до квартиры деда по меньшей мере 500—600 шагов. Конечно, надо учесть и то обстоятельство, что в то время Ойрот-Тура был не таким, как нынешний Горно-Алтайск. Тогда по улицам и грязным переулкам Ойрот-Туры не бегало столько машин. Их было совсем не видать. Тихие и пустые улицы. Коль не мешают другие

шумы, куда же деться музыке кая, если не задеть моего уха? Но голос деда все равно был большим. В жизни своей я много слышала исполнителей кая, но такого до сих пор не хватает мне. У деда большая грудь, оттого-то у него дыхание длинное. Голос долго переливался, словно там где-то, в гортани, имел он какие-то перекаты, и через них непрерывными потоками бежали бурливые и чистые золны звуков.

...Много воды утекло, много времени ушло, как не стало Николая Улагашевича Улагашева. Но река великого алтайского эпоса течет из седой древности, питая звонкие ручьи современной поэзии моего народа. Исполненные, а может быть, сотворенные Улагашевым, эпические поэмы — душа и зеркало алтайской литературы. Изданное собрание героических сказаний, составляющее пока только десять томов, открывается поэмами Николая Улагашева. Неподражаемая эпическая музыка его сказаний до сих пор волнует и покоряет нас, людей конца двадцатого века.

Кай — это великое достояние моего маленького по численности народа. Хорошо, что кай, дрезняя наша песня, живет сегодня вместе с нами. Он и ныне остается бесценным богатством Горного Алтая и всего тюркоязычного мира. Бессмертная и жаркая песня кая, как огонь, бежит по струнам древнего алтайского толшура.

Ныне у нас широко известно имя Алексея Григорьевича Калкина, одного из самых талантливых продолжателей улагашевских традиций. Например, с его слов записан «Маадай-Кара». Этот поистине великий эпос уже имеет несколько самостоятельных изданий. А в 1973 году Институтом мировой литературы имени А. М. Горького и Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом истории, языка и литературы были осуществлены издания этой вещи в серии «Эпос народов СССР» с параллельным текстом на алтайском языке, с научным предисловием и послесловием видных специалистов по вопросам фольклористики. Чуть позже «Маадай-Кара» был переведен поэтом Александром Плитченко и напечатан в журнале «Сибирские огни». Надо отметить, что художественный перевод удался, и потому эта большая эпическая поэма в 1979 году вышла отдельной книгой массовым тиражом в отличном оформлении художника Игната Ортоногова. «Маадай-Кара» завоевал широкую популярность среди многонациональных читателей нашей родины. Доказательство тому — подготовка его для переиздания Западно-Сибирским книжным издательством в том же переводе и художественном оформлении.

Один из алтайских богатырей был мостостроителем. Это легендарный Сартакпай-строитель... Кстати сказать, в том самом месте, где наш благородный батыр Сартакпай попытался построить для своего народа мост через сильную и бурливую красавицу Катунь, в настоящее время правительством утверждён проект строительства Еландинской ГЭС. Так в наши дни осуществляется древняя мечта народа!..

А может быть, будущую ГЭС, строительство которой только начинается, лучше всего назвать именем народного героя Сартакпая, а не Еландинской (еланда по-русски «змеиная»)??

Годы не стоят на одном месте. Мчатся друг за другом в прошлое... Спасибо годам за то, что они позволяют крепко держаться нашим кайчи-сказителям за бурные и порывистые гривы. В наши дни не исчезают, а наоборот, из народных глубин рождаются новые кайчи, неожиданные молодые имена. Одно из них зовут Таныспай Шинжиным. Он, правда, не совсем чистый, если так можно сказать, кайчи. Ибо еще много у него других титулов и занятий...

Хочу отметить, что некоторые товарищи почему-то привыкли к тому, что если речь идет о кайчи-сказителе, то он непременно должен быть с каким-то физическим недостатком, к тому же обязательно малограмотным. Это заблуждение.

Наш Таныспай Шинжин имеет высшее образование, является научным сотрудником сектора народного творчества Горно-Алтайского НИИЯЛ, поэтом и прозаиком, разумеется, членом Союза писателей СССР.

Мы следим за молодым сказителем и радуемся, что с годами голос его крепнет, растет с большим напором и темпераментом, вбирая опыт своих предшественников. Особенно многому он научился и учится у того же Алексея Калкина, ставшего не только наставником его, но и близким другом, подобным кровному брату.

Мне известно, что Таныспай Шинжин недавно закончил научную монографию о жизни и многолетней творческой деятельности Алексея Григорьевича Калкина, чьим оригинальным и эпическим видением мира вот уже много лет гордится Горный Алтай. Коль разговор идет о каяе и кайчи, я не могу не сообщить еще об одной радости, которая связана с именем моего друга Таныспая Шинжина.

По характеру он тихий и незаметный человек, но работает много и неустанно. Без лишней показухи и крика. В последнее время им сделано, на мой взгляд, просто потрясающее открытие, которому нет сегодня равного в алтайской фольклористике. В связи с этим я вынужден буду заметить и то, что радость эта почему-то пока остается радостью и открытием только одного Таныспая Шинжина, ибо некоторые товарищи, его же коллеги по научному институту, весьма сомнительно и холодно встретили находку молодого исследователя.

Дело в том, что в народе давно, в том числе среди исследователей алтайского героического эпоса, шла молва о существовании какого-то очень большого стихотворного произведения «Янар». Но написать эту вещь никому не удавалось. Вероятно, многим фольклористам просто не встречались знатоки и хранители этой большой народной эпопеи. Были и такие фольклористы, которые знали помнящих текст «Янара», но по неизвестным причинам не смогли осуществить запись.

Следует отметить и то, что многие, услышав об алтайском «Янаре», сразу начинают предполагать, мол, это, наверное, один из вариантов всемирно известного эпоса калмыцкого народа «Джангар», поскольку «Янар» и «Джангар» звучат почти одинаково.

И вот недавно выяснилось, что Таныспай Шинжин в течение ряда лет работал с довольно известным в Горном Алтае чорчокчи—рассказчиком народного эпоса Н. К. Ялатовым и постепенно, не торопясь осуществил запись «Янара». И этот огромный эпос оказался совершенно самостоятельным произведением народного творчества. Общий объем «Янара» огромен. Если знаменитый эпос «Маадай-Кара» насчитывает где-то около восьми тысяч, то «Янар» в записи Таныспая Шинжина имеет более тридцати четырех тысяч стихотворных строк... К сожалению, труд этот пока не оценен по достоинству, более того, кое-кто пытается поставить его под сомнение, дескать, а почему же не знал об этом лучший исследователь народного эпоса Суразаков? Но в том-то и дело, что знал Сазон Саймович Суразаков о существовании «Янара». И упомянул о нем в одной из своих статей, напечатанных в «Ученых записках» (1958, выпуск второй, с. 95 — Б. У.), изданных Горно-Алтайским НИИИЯЛ...

Кроме того, С. С. Суразаков об алтайском «Янаре» (или по его транскрипции «Дьангаре») довольно подробно говорил в докладе, прочитанном на Всесоюзной конференции в 1972 году в Элисте — столице Калмыцкой АССР. Текст доклада алтайского ученого напечатан в том же году в сборнике «Проблемы алтайистики и монголоведения», откуда можно привести следующие его строки: «У алтайцев существовал свой «Джангар» — «Дьангар». В эту эпопею входило 77 древних героических сказаний...»

Давайте допустим и такое: проф. С. С. Суразаков не знал и даже не слышал (могло же так случиться) о существовании этого эпоса. Как быть тогда? Куда пойти и к кому обратиться, например, тому же Таныспая Шинжину со своей необычной находкой?..

Мне думается, не признав эту эпопею, мы можем уподобиться манкуртам из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», лишенным памяти, навеки забывшим свое прошлое и родство. Уверен, этого не произойдет. Правда, как говорят, восторгается. И еще: «Янар» имеет прямое отношение и к имени Николая Улагашева. Об этом свидетельствует журнал «Советская этнография». В шестом номере за 1944 год напечатана в нем статья проф. Л. П. Потапова, в которой ученый вспоминает свою встречу с Николаем Улагашевичем Улагашевым. Крупный алтайский сказитель своему гостю при беседе сообщил о бытовании в Горном Алтае очень большого эпического произведения «Янар», о батыре, живущем в «вечной зеленой стране».

Лично я несколько не сомневаюсь в достоверности «Янара» и в том, что со временем он займет свое достойное место. А может быть, станет главной книгой алтай-

ского народа, ибо «Янар» является сводным эпосом. В нем действуют многие известные герои предыдущих алтайских сказаний.

Л. И.: — Да, сказки, я бы сказала, варьируются в живой крови и душе народа! Любое народное словесное творение, — подумайте сами — маленькая сказочка или огромный эпос прежде всего кому адресовано? С какой целью и зачем, спрашивается, создавался этот коллективный труд? Конечно, это мечта народа изменить окружающий мир, сделать жизнь свою лучше и красивей. Народ верил в свои слова и дела. Ведь я же говорила, что мой дед, проживший большую и долгую жизнь, глубоко и искренне верил в действительность тех событий, о которых он сам кайларил и рассказывал.

На ваш вопрос, товарищ Укачин: «Как к каю алтайских сказителей относится современная молодежь моего Чолушмана?» — хочу ответить, приводя некоторые факты из современной жизни. Где-нибудь на пастушеской стоянке, особенно в летнее время (ведь овецоводы далеко на белки перекочевывают), не каждый раз слушают радиопередачи. Но теперь у многих есть приемники. Спасибо им, приемникам. При помощи их наши пастухи и их дети через горы и доли слушают голос родины. Говорю громкие слова?.. Но это на деле так!.. Вот по областному эфиру, допустим, звучит кай или народные песни. Я сама не один раз замечала и видела своими глазами, как молодые собираются вокруг этого самого радиоприемника, словно из-под земли встал кто-нибудь из кайчи и пришел к ним в гости. А среди этой молодежи много школьников. Они в летние каникулы находятся на стоянках у родителей.

Слушая радио, некоторые юноши и девушки сами учатся играть на национальных инструментах. Интересуются топшуром, комузом, также играют и на икили, своеобразной скрипке нашего народа. Молодежь никто не заставляет играть на этих древних инструментах. К сожалению, в наших школах нет специальных уроков, чтобы научиться играть на них. Конечно, при этом никто не хочет отвергнуть, например, современный баян, гитару и т. д. Даже если и захочешь, ничего не изменишь — время рождает новых исполнителей. И все же...

Далее хочу подчеркнуть и такую немаловажную деталь. Вы знаете наш Чолушман и его людей. В здешних местах редко поют народные песни. Топшур, икили, шоор и комуз — все алтайские инструменты почти забыты. А теперь начинается новое оживление, там и тут стали звучать наши мелодии... В нашем Улаганском аймаке даже мало людей с алтайскими именами. У всех не только русские, даже древнецерковные, библейские имена. Послушайте: Магдалина, Онуфрий, Трифон, Севастьян, Исаак, Авраамий и т. д. При помощи церковных запретов и учений дьяволы-попы всеми силами старались погасить национальный дух народа, уничтожить не только формы, скажем, одежды, но и духовную культуру народа — язык, песни,

различные игры и обычаи, но, оказывается, душу народа нельзя вынуть. С приходом нового времени, Советской власти, народное постепенно возродилось и возвращается к народу. И не случайно так хорошо знают сегодня имя Алексея Григорьевича Калкина. Хотя он ныне живет в Усть-Канском аймаке, но является уроженцем нашего Улаганского аймака. Сказитель он очень хороший. И я с большой охотой слушаю передачи о нем, как он ездит почти по всей стране, пропагандируя алтайский кай. Его слушали в Москве, Ленинграде, Новосибирске, Барнауле и других крупных центрах. Я горжусь его именем, как именем родного деда. Иногда мне даже кажется, что будто воскрес мой дед и голосом своего ученика Алексея Григорьевича снова продолжает петь. Известно, что Алексей Калкин еще юношей и начинающим кайчи встречался с моим дедушкой...

Сейчас у нас много стихов, поэм. Много выходит книг на алтайском языке — рассказы, повести, есть свои романы. То есть хочешь читать — выбирай на вкус. Но в то же время на фоне современных достижений алтайской литературы древние поэмы-сказания о борьбе батыров за светлую и справедливую жизнь значения былого не теряют. Те же вековые вопросы нас и сегодня волнуют. И потому тома «Алтайских богатырей» сегодня в каждой семье и в любом доме есть. Значит, маршруты древнего эпоса еще больше расширяются, особенно в связи с переводом их на русский язык. Одним словом, древние богатыри живы, они среди нас, помогают людям трудиться, вдохновляют на хорошие дела. Нет, нет, о маршрутах эпоса я сказала не без обоснования. Послушайте... Живет в Чолушмане участник Великой Отечественной войны Пантелей Семенович Тужалов. Однажды он приходит ко мне домой и рассказывает следующую любопытную и трогательную историю: «Поэма вашего деда Николая Улагашевича Улагашева «Малчи-Мерген» во время войны была всюду со мной. Книгу эту мне прислали родственники с Алтая. Они писали мне, чтобы я всюду помнил святую алтайскую

землю, был непобедимым батыром в кровавой войне, как Малчи-Мерген. Если ядовитой пулей поранят тебя, заклинали родственники, коварные фашисты, если даже убьют тебя, ты воскресни и побеждай своего врага! Найди, как наш батыр Малчи-Мерген, свой живой и целебный корень, опять и опять восстанавливай прежнюю силу и бей, бей, не жалея ненастных врагов!.. Так что и книга вашего деда сражалась с фашистами... Вот она, эта книга, ее обратно привез я с кровавых полей фронта на родной Алтай, в родные горы Чолушмана...»

Так мне говорил, показывая книгу деда, фронтовик Пантелей Семенович Тужалов. Видите, какие маршруты у батыра-алтайца Малчи-Мергена!

— Ваши мысли о будущих маршрутах...

Л. И.: — Все зависит от нас самих. Наследники этих богатств мы, алтайцы! Отсюда следует — как мы будем относиться к родному и древнему слову, так оно и отзовется...

\* \* \*

Так прошла тогда, десять лет назад, наша беседа. Пройдут еще десятилетия. Но такие замечательные поэмы, как «Алтай-Буурай», «Алтын-Коок», «Алып-Манаш», «Малчи-Мерген» и многие другие, записанные со слов Николая Улагашева, никогда не затеряются во времени, всегда будут видны, как сияющие вершины алтайских гор.

И покуда будет жить и трудиться мой алтайский народ, будет звучать и язык наш, обогатившись силами и сокровищами других языков и культур, народов нашей самой интернациональной в мире страны. Будет расти и крепнуть среди других больших и малых литератур наша новая алтайская литература.

Я уверен, что в этом добром и прекрасном поэтическом оркестре будет так же звучать и древнее, но всегда молодое слово алтайского кайчи Николая Улагашевича Улагашева.





Вячеслав Валентинович Морозов родился в 1954 году в с. Сидоровке на Алтае. Кандидат в мастера спорта по альпинизму. Живет в Барнауле, работает помощником машиниста железнодорожного крана. Занимается в Барнаульской литературной студии. В альманахе публикуется впервые.

Вячеслав МОРОЗОВ

# ГОРЫ

## ЗАПИСКИ АЛЬПИНИСТА

Альпинизм — это военное занятие в мирное время.

*Ф. Савшиков. На горной тропе*

Наверное, нельзя альпинизм считать спортом в чистом его виде. В нем есть элемент риска, который очищает души людей, и есть тот самый «момент истины», о котором писал Хэмингуэй. Наверное, альпинизм сходен с человеческою жизнью вообще, чем со спортом, если, конечно, речь идет о том случае, когда человек решил жизнь прожить, а не прожечь, или, еще хуже, просуществовать.

*О. Куваев. Устремляясь в гибельные выси*

Альпинизм — не спорт, а способ существования.

*В. Маеркович, мастер спорта СССР,  
«снежный барс»*

Альпинизм — это своеобразный спорт. Я разделяю этот тезис. Как сказал один из членов нашей экспедиции (не альпинист): «Это определенная отрасль физического напряжения». Некоторые даже считают, что это вообще не спорт и, может быть, поэтому объявляют альпинизм неолимпийским видом. В альпинизме не услышишь рукоплесканий в связи с победой, никто не наденет на тебя венок победителя. Не будет ока телекамеры и ленточки, которую так приятно разрывать первому. Рядом будут такие же, как и ты, бесконечно усталые и замерзшие ребята, глаза которых даже не всегда можно разглядеть через темные защитные очки. Не будет споров с судьями, апеллирующих к зрителям, душеоблегчающих воплей... Не будет кассовых сборов. А будут не зацелованные друг другом настоящие мужчины (хотя этот термин весьма уже затаскан). И будет еще тишина, иногда почти мертвая, а иногда разбуженная воем ветра, грохотом снежных и каменных обвалов. Поднявшиеся порой даже будут объединены не радостью победы, а, прежде всего, физической усталостью.

*Л. Этинген. Записки параальпиниста*

Высота наводит на размышления, заставляет думать только о главном, по крайней мере, о том, что кажется тебе наиболее важным, и не оставляет места для мелочей. Тут человек как бы поднимается над самим собой и видит себя издали, со стороны, и судит себя со всей строгостью.

*И. Кудинов. Городская жизнь*

Здесь, в долгом пути, время тебя обнажит перед всеми, ты никого не одурачишь и не обманешь, все твои свойства выплывут наружу. Ни красноречие, ни объем твоих знаний, ни степень культурности — ничто не возвысит тебя над твоими товарищами, если ты нарушишь простой, неутомимый закон путешественника.

*П. Н. Лукницкий. Запись в дневнике*

Мы альпинисты. Мы испытатели. Летчики проверяют в воздухе надежность конструкции самолета. А мы в горах — конструкцию человека. Его мощность, пределы его физических и психических сил.

*В. Шатаев Категория трудности*

...Вся романтика альпинизма приходит лишь после восхождения, а альпинизм на деле — это ляжка бурлака, и жизнь пещерного человека, и бухгалтерские расчеты, и трудный сон под обстрелом.

*Е. Симонов. Вершина без адреса*

## ОТЪЕЗД

Все началось с телефонограммы из спортивного клуба армии, в которой значилось, что приказом таким-то от такого-то числа командировать сержанта запаса Морозова В. В. в распоряжение СКА г. Новосибирска сроком на два месяца. Выезжать надо завтра утром. Радуюсь и одновременно испытываю чувство неловкости. Радость понятна — впереди встреча с товарищами. Неловкость оттого, что я уеду, а напарнику Кольке придется работать за двоих.

Вечер уходит на сборы. Прикидываю, все ли взял. Рюкзак уложен — любо глянуть. Подгоняю ляжки, с удовольствием ощущаю прильнувшую к спине тяжесть «зеленого друга». Душа поет в полный голос.

Такие они, восторженные минуты сборов в дорогу. В голове проносятся сотни вариантов предстоящих скитаний, мелькают, не задерживаясь в памяти, приятные перспективы, воображение рисует великолепие горных пейзажей. По жилам течет не кровь, а прямо-таки эликсир жизни. Хочется шагать и шагать вперед. Все равно куда, лишь бы не стоять на месте. Я знаю, как надоест впоследствии рюкзак; знаю, что ни один из розовых вариантов судьба мне не уготовила, и все же!.. Да и не хочется думать об этом в такие минуты. Всю жизнь бы вот так переживать «щемящее чувство дороги», а потом ехать, идти, ползти, даже мерзнуть, голодать, но только не сидеть на месте.

Отыскиваю Кузена. По паспорту он Александр Арсеньевич Корсаков и кузеном доводится только мне, но так уж вышло, что слово приглянулось всем и стало его вторым именем. Кузен — врач-терапевт, перспективный альпинист и отличный скалолаз. В прошлую экспедицию он ходил в составе команды САВО (Среднеазиатский военный округ), которая в классе траверсов на первенстве Вооруженных Сил СССР получила «золото». Вместе на-

ходим Жеку Валяева, он же Бугор. Истоки его прозвища известны немногим. В нашей среде если прозвища приживаются, то не обидные и не оскорбительные. Иногда это удачное переименование фамилии или тонко подмеченные особенности характера, внешности. Меня прозвали Саввой.

Жека тоже врач, но анестезиолог. Его врачебная практика на два года продолжительнее кузеновой, и врачом команды назначен он. Мы с братаном решаем ночью выехать к месту сбора в Новосибирск, а Бугорок останется пополнять свою коллекцию медикаментов.

В Новосибирск прибываем рано утром и принимаемся искать Толика Киселева (он же Киса). На одной из ненужных пересадок удачно натолкнулись на Юру Ушакова, который избавил нас от бесполезной траты времени.

Квартира Толика напоминала что-то среднее между складом снаряжения и общежитием. Хозяина дома нет, но двери постоянно хлопают, впуская и выпуская парней. С одними я знаком, других вижу впервые. Беготня поминутная. На столике в углу вертятся катушки магнитофона. Пьем чай и включаемся в работу. Из кучи хлама вытаскиваем годное снаряжение, сортируем его, приводим в порядок. Одновременно идет обмен новостями: что, где, когда. Из спальни выходит Ушаков, демонстрирует только что шитый оранжевый мешок, весь перетянутый усиленными тесьмами. Это, должно быть, рюкзак. Не участвую в обсуждении его несомненных достоинств, а сажусь за машинку и простирачиваю по швам все свои тряпки, благо нить заряжена капроновая, и грех не воспользоваться такой возможностью.

Приходит Киса. Он купил всего три билета до Душанбе, нужно брать недостающие. Собираем паспорта и деньги в одни руки. Я один из гонцов.

В Толмачеве очередь у касс длинная. Возвращаемся на квартиру Толика уже вечером. Двери открывает наш старший тре-

нер Николай Алексеевич Шевченко. Во избежание официальности и вытекающих из нее последствий мы называем его просто Колей или Шефом. Коля — мастер спорта, по образованию педагог. Он прекрасно сочетает в себе природную уравновешенность, выдержку, твердый характер. Старше нас по возрасту (кроме Киселева) и выше по спортивной квалификации, он вполне нормально реагирует на «Колю», но когда назовешь его по имени-отчеству, нижняя губа у Шефа чуть выдвигается вперед — признак удовольствия.

В комнате горы снаряжения выросли еще выше. Из подвала выволочены блестящие от смазки кошки, вкладыши для спальных, разнокалиберные каски, верхонки, свитера, гетры, ящик с титановыми крючьями, страховочные пояса, примусы целые и раскуроченные, палатки, связки ледорубов и штопорных крючьев, массивная цепь карабинов «Ирбис», смазанные веревки, бухта репшура и еще множество всего, что необходимо альпинисту в горах. Все это добро должно уместиться в высокий круглый бак, когда-то бывший мусорным, два деревянных ящика и наши рюкзаки. Жалкими и неуместными кажутся среди походных вещей полированные шкафы, зеркала, полумягкие кресла и прочие атрибуты цивилизованного мира. С упаковкой долго не возмисся — время не терпит. Тем не менее весь груз уложен аккуратно. Кузен и Ерофеев уходят на перехват грузовой машины. Через полчаса парни появляются с шофером автобуса. С грохотом протаскиваем по лестнице тяжеленный бак, загружаемся в автобус и едем в аэропорт.

Хорошенькая бортпроводница объявляет номер рейса и говорит все, что положено в таких случаях. Лету до Душанбе три часа десять минут. Устраиваемся поудобнее в откинутых креслах. Я достаю припасенный «Огонек» с кроссвордом и оглядываюсь назад, где сидят новосибирцы, парни из Томска, Ачинска, но все они старые члены СибВО. Мы же, алтайцы, контактируем с ними первый год. В горах раньше встречались, знакомы шапочно. А что они за люди на горе, покажет время.

У ребят, наверное, мысли сходны с нашими. Ничего, притремся, приуровнимся друг к другу.

## ДУШАНБЕ

Из самолета выгружаем свои вещи сами. Кроме личных рюкзаков еще четыре общественных. На одном из них крупными буквами начертано «Казанец». Автор надписи Коля Казанцев, наш третий, врач. В этом рюкзаке необходимый медицинский набор от первой до последней помощи — результат бугровской пронируемости. Такси не видать, но «леваков» в Средней Азии навалом, только свистни. Представители этого живучего племени подбрасывают нас к центру города на республиканскую детскую туристическую станцию. Сей-

час здесь ремонт, детей нет, мы располагаемся прямо на раскаленной земле.

Оставив дежурного у вещей, идем осматривать город. Совсем неподалеку раскинулся базар. Шум, пестрота одежд и лиц, обилие запахов вареной и жареной снеди, фрукты на прилавках, откормленные мужики в тубетейках, выглядывающие из киосков, — это лицо восточного базара. Фруктов еще мало, больше овощей. Обходим торговые ряды для общего ознакомления и оседаем в чайхане. Лагман и несколько чайников зеленого чая вызывают у нас благодушное настроение.

Шеф и Киселев улетели в Алма-Ату добывать пух, поэтому старший над нами — Леша Алмазкин, парень из Турочака. Он велит далеко не разбредаться и уходит вдвоем с Юрой Бурениным на поиски лучшего места, где мы могли бы с большим комфортом дожидаться остальных членов команды.

Ближе к полудню перебираемся на стадион «Локомотив». В наше распоряжение предоставлена мужская раздевалка.

До приезда Шефа время есть, и мы ублажаем себя игрой в футбол с местной пацанвой, очень достойными соперниками.

Спим прямо на футбольном поле.

Утром после зарядки идем в чайхану. Чайханщик — парнишка лет четырнадцати по имени Галилей (или что-то в этом роде). Проходит, так сказать, школьную производственную практику, с детства приобретает трудовые навыки. После чая идем искать нужный нам мелкооптовый магазин, где мы могли бы выписать продукты. Натякаемся на определенные трудности, поскольку СКА-18 не числится в списках организаций Душанбе. Уповаем на людскую доброту и снабженческие способности Буренина. Юра бормочет что-то вроде: «Настоящий полководец выигрывает сражение до его начала» и покупает букет роз. С этими розами он надолго исчезает в кабинете товароведа и выходит оттуда сдержанно сияющий и деловитый. Поздравляем его, что товаровед оказался не мужчиной.

До обеда носимся по продовольственным складам. Набрали уйму всячины и не без труда доставили на стадион. В раздевалке высится штабель ящиков, мешков и картонок. Остается раздобыть кухонную утварь. Отправляемся за ней. Казанцу и мне поручено купить паяльную лампу и канистры под бензин и воду. Пока отыскивали все необходимое, прочесали добрую половину города. Душанбе — город небольшой, очень зеленый. Деревья, растущие вдоль узких улочек, почти смыкаются своими кронами. Впечатление такое, будто идешь по освещенному зеленому тоннелю. Ритм жизни наполовину азиатский, наполовину европейский. Если в Самарканде, увидев бегущего человека, народ останавливается и подолгу смотрит ему вслед, то здесь бегай на здоровье. Никого это не удивит.

Вечером идем в летний кинотеатр, расположенный в привокзальном парке. Дома не всегда удается вырваться в кино, так хоть здесь, тем более, что с наступлением темноты время у нас немерянное. Спим

опять на зеленой травке стадиона. Ночи здесь звездные и прохладные.

Все-таки мало времени нужно для того, чтобы втянуться в восточный ритм. Чаевничаем мы совсем как аборигены: скинув обувь, по полтора часа ведем неспешную беседу «за жизнь». До двенадцати дня срочных дел ни у кого нет. Печемся на жарком солнце и не задумываемся над тем, что приятное безделье продлится недолго. Спокойствие нарушено с приездом Шевченко и Киселева. Они привезли пух, который раздобыли у друзей-алмаатинцев. Спальные мешки мы сшили еще в Барнауле, но только чехлы, пуха достать не смогли. Сразу же садимся с Кузеном за работу. Жека Валяев распарывает свой худющий мешок и тоже добавляет по горсти пуха в каждую секцию. Коля подкинул нам четырехместный общественный спальник, тоже для набивки. Сшили этот «конверт» для пробы. Как он себя оправдает, узнаем в горах.

Шеф, отдав распоряжение, уезжает с Толиком на перевалочную базу альплагеря «Варзоб», чтобы записаться картами района наших будущих восхождений и получить по району кое-какие консультации.

Утром Шеф после раздачи тренировочных костюмов, шитых, вероятно, на дородных пенсионеров, делает объявление: мы перебираемся в гостиницу СКА-12, где уже собрались все начальство и несколько команд из различных округов. Начальство — это организаторы первенства и судейская коллегия. По злому року на нас выпал выбор добираться до места не на казенных машинах. Опять нужно тратить время на поиски. Найти попытку будет не так просто, ехать предстоит не одну сотню километров. Машины, переброска — вечная наша забота. Компаниец и Буренин уходят на поиски. Они же оба будут сопровождать груз, а нас обещали разместить на казенных грузовиках. Оставляем себе документы, пропуска в погранзону и берем на всякий случай пуховки — кто знает, где и как придется ночевать в дороге.

## ДОРОГА

Наконец погрузились и тронулись.

Головная машина часто останавливается у ворот солидных зданий, и наши начальники по долгу беседуют с незнакомыми военными и гражданскими людьми. Таким образом, двигаясь эскортом за головной машиной, совершаем почетный круг по городу. Затем вся колонна выезжает на магистраль, и вскоре Душанбе остается позади.

Трасса Ош-Хорог достаточно оживленная. Дорогу украшают частые подъемы и повороты. Водители переходят на пониженную скорость, моторы режут сильнее. На спуске, когда их рык обрывается, слышно, как справа от дороги шумит, перекачивая валуны, река Обихингоу. По-таджикски ее название означает «коричневая вода». Обихингоу — довольно крупная река на Памире. Сливаясь с Сурхобом, они вместе образуют многоводный Вахш.

В полночь останавливаемся на ночлег. Фары машин потушены, и вначале различить что-нибудь трудно. Потом во мраке угадывается стройное очертание каменного бельведера. Посередине его курлычет маленький фонтанчик. Расстилаем матрацы и засыпаем под его нежное бульканье, такое приятное на фоне глухого шороха реки. После дорожного гула и качки это место для нас — подарок судьбы.

Рано утром играют побудку. Вершинки зеленых гор только тронула солнечная позолота. А воздух!..

Кто-то из москвичей едва продрал глаза, восклицает:

— Мама моя!..

Это относится к месту, где мы находимся. Действительно, куда ни глянь, все вызывает восхищение. Каменная беседка, в которой мы ночевали, шестигранной формы. Стены ее украшены искусной мозаикой таджикского народного орнамента и разноцветной лакированной галькой. Посередине беседки словно из земли выросла точеная мраморная чаша, в которой неровно подпрыгивает искрящийся водяной столбик. Вниз от беседки сбегает каменная тропинка и терется в густых зарослях кустарника, который зеленой кипенью охватывает полумесяцем небольшое озеро эллипсоидной формы. Поверхность озера поблескивает голубовато-металлическим светом. На берегу, со стороны дороги, устроено подобие пляжа: насыпная мелкая галька, три каменных грибка, оградка, паралет.

Устремляемся бегом к воде и бултыхаемся в хрустальный бальзам озера. Вода изумительная! Когда вылезаем на берег, Володя Ерофеев, попадая ногой в штанину, выговаривает посиневшими губами:

— Я к-как з-заряженный аккумулятор.

Он студент АПИ, будущий инженер. По характеру больше лирик, чем физик, но из сказанного можно судить, что приобщенность к технике все же дала свои плоды.

В озере изобилует рыба маринка. Вот и сейчас она, непуганная, устремляется после нас к берегу небольшими стайками. Длинные двойные усы рыбешек плавно покачиваются. Сразу находят профессионалы рыбной ловли, и разгорается спор о породе этой рыбы и ее законном месте: на столе или в озере? Шеф показывает на щит, стоящий неподалеку. Надпись на щите гласит: «Улов рыбы запрещается!» На случай возможных комментариев к написанному здесь все лето живет в палатке охранник-таджик. От него узнаем, что озеро называется Хаузи-Кабут, что означает «голубое озеро». Глубина его достигает ста метров. Мы вытягиваем губы трубочкой (у-у-у-у!) и интересуемся, что за гора замыкает ущелье снизу. Гору эту таджики называют Шаорус — женское имя. Очевидно, у какого-то путника в минуты очарования всплыл в памяти образ любимой, и он решил ее именем назвать красавицу-гору. Гора обрывается в нашу сторону треугольной стеной. От вершины ее до осевой линии обнажены разноцветные

пласты породы, изогнутые причудливыми волнами и разделенные по вертикали расходящимся кверху стреловидным кулуаром. Озаренная угренными лучами стена как бы укрыта розовой флюидной дымкой. Разноцветные разводя пластов все-таки больше напоминают мне раскрывшийся фантастический тюльпан.

Неподалеку от нашей беседки четырьмя отвесными ступенями уходит вверх огромная желтая скала. Ребята засматриваются на стену. Видно, что руки у них чешутся. У альпинистов это в крови: увидят стену — мысленно прокладывают маршрут.

Завтракаем лепешкой и холодной тушеной говядиной. Белорусы дарят нам целую кастрюлю чая и впридачу келку парварды — восточной сладости. Парни рожутся в картах, спорят о предстоящем километраже, высчитывают, сколько еще трястись в дороге.

Впереди нас ждет Калаи-Хумб. Справа от трассы Ош-Хорог по-прежнему бурлит черной водой Обихингоу. Слева нас теснят красные скалы, перемеживающиеся зелеными склонами с рыжими плешинами мелкой осыпи. Вот проплыл мимо широкий отвесный бастион. В этом месте явно применяли взрывчатку. Дорога поворачивает влево, и бастион открывается в виде огромной чертовой длани, занесенной над поворотом. Впереди уже появились первые белки, предвестники «серьезных» гор. «Горы в брачных венцах», — сказал Андрей Белый.

Ущелье, по дну которого мы едем, очень живописно. Цветной пленки в фотоаппарате осталось мало, я берегу ее для восхождения, но все же не удерживаюсь и один раз щелкаю.

Дорога снова начинает выписывать кривую по вертикали. Рядом со мной находится бочка с бензином, благоухающая и непоседливая. Подо мной торчком стоит чей-то ледоруб. Спасибо его хозяину за вывернутый штычок, но и без штычка ледоруб мало напоминает кресло. Удобства, конечно, не ахти какие, но это ерунда по сравнению с тем, что нас ожидает в дальнейшем. Солнце припекает так, что кажется, мозги начинают плавиться. Белые кепочки, кототрыми мы запаслись заранее, помогают мало.

После кишлака Тавильдара дорога превращается в сплошной серпантин: влево—вправо, влево—вправо, ни метра по прямой. Моторы, сотрясая ущелье своим рыком, тянут машины на перевал. Перевал этот — сплошной сифон, дыра для ветров. Слева по ходу на перевале расположена знаменитая Памирская обсерватория. Она белеет куполами недолго и скрывается, едва машины уходят на спуск. Спуск такой же петлистый, только поворачиваем мы теперь не вправо—влево, а скорее вперед—назад. Целый каскад поворотов. Перевал на высоте расположен в зоне альпийских лугов. Здесь обилие цветов и трав — мечта богачика. Некоторые экземпляры цветов по величине смахивают на небольшие деревья.

В конце спуска речка Хумбов. По сравнению с Обихингоу она выглядит голубой

лентой. Погранпост минуем почти без поддержки. В три часа дня останавливаемся в центре селения. С машин не слезаем, а прямо-таки десантируемся, потому как еще на подъезде увидели открытые двери книжного магазина. Мигом раскупаем Ко-нан Дойля, «Али-Бабу и сорок разбойников». Полностью очищается полка со сборником о шахтерах Донбасса. «Записки о Шерлоке Холмсе» берут по пять-шесть экземпляров — для друзей, оставшихся далеко, так что пришлось продавцу еще два раза сходить на склад. Вначале сонный, продавец теперь задвигался и даже порозовел от удачи, нежданно свалившейся на него. Его шутя спросили: «Ну что, большой доход от нас?» — «Вах-ха! На два года вперед план выполнил!» — ответил он, сияя. Книжный улов у всех богат, но большинству не досталось книги Владимира Машкова «Вершины моей республики». Книги об альпинизме вообще не увидишь ни в одном «букинисте», а те, что появляются на прилавке, расходятся моментально. Тираж их до обидного мал, а спрос растет с каждым годом. Почему-то в любом книжном магазине годами лежат различные издания о плавании, гребле, баскетболе, коньках, парусном спорте и прочих видах. Даже в нашем Алтайском крае без труда можно купить руководство по подводной охоте, но найти что-нибудь о горах — это проблема.

Опять дорога, встречные машины. Местные водители ездят, прямо скажем, класно. Уверенно работают на крутых участках, красиво проходят повороты, без лишней суеты разъезжаются в узких местах. Такая трасса вышколит! Справа от нас за рекой Афганистан. Головы наши, разумеется, повернуты туда, на юго-запад. Проплывают маленькие афганские деревушки. Отличаются они от таджикских прежде всего скученностью. Одна мазанка лынет к другой, та в свою очередь наваливается на третью и так далее. Окошек мало и все небольшого размера. Каждый афганский поселок тонет в зелени. Восхищает трудолюбие афганцев. Мало-мальский удобный для пашни клочок земли обязательно использован. Иногда этот участок крутого склона, где бык едва ли протащит плуг. Значит, приходится под лопату. Каждый участок огорожен невысокой стенкой, сложенной из камней, от которых очищалось поле. Видимо, для того, чтобы талая и ливневая вода со склонов не смывала верхний слой почвы и не губила посевы.

Границей между двумя государствами служит река Пяндж. Переpravляться через Пяндж отважится разве умалишенный, но и у него вряд ли что получится. Нам хорошо видны узкие улочки, буйно цветущие сады, люди в пестрых халатах. Афганская одежда — и женская, и мужская, — на наш взгляд, ничем не отличается от той, что носят в Средней Азии, по крайней мере верхняя: те же полосатые халаты, те же тубетейки. Машем приветственно афганкам помоложе, они белозубо улыбаются.

За три часа езды вдоль реки-границы деревушки на той стороне успели при-

мелькаться, и понятие «заграница» утратило свой первоначально таинственный смысл. Такие же горы, такие же люди — ничего особенного. Хотя мы и не надеялись увидеть что-то из ряда вон выходящее, резко отличающееся от «нашего», привычного, все-таки немного досадно, что этого не случилось. Видели, как афганцы пашут землю на быках. Два быка в упряжке, два сменных пасутся неподалеку. Плуг был смутно различим, но по форме и габаритам он здорово смахивал на деревянную соху. Такую же соху, большую и тяжелую, вырезанную из вековой арчи, мы случайно увидели в одном из таджикских кишлаков. Заметив, с каким интересом и удивлением мы рассматриваем это древнее орудие земледельца, почтенный аксакал степенно наклонил голову: «Пахали» — и взглянул на свои ладони.

С наступлением темноты жизнь за рекой словно замерла: ни звука, ни огонька. Электричества здешние афганцы не знают. Лишь два раза мелькнул тусклый свет в маленьком оконце да костер на глиняной крыше одной из мазанок. Грунтовых дорог за весь день не увидели ни разу. Много ишачьих троп, серпантинном ползущих на склон, но дорог нет. Все кишлаки, расположенные вдоль Пянджа, соединены между собою оврингами — настилами из тростника и камня, выложенными вдоль крутых склонов. Макс Эйзелин в книге «Неизведанный Гиндукуш» пишет, какое это нелегкое дело — строительство дорог в Афганистане.

Уже в полной темноте минуем вторую погранзаставу. От нее наша дорога сворачивает влево, в ущелье Ванч. Афганистан остается позади.

Верхний Ванч проезжаем ранним утром. На большой поляне, поросшей редкой растительностью, машины останавливаются. Похоже, что здесь судьи решили делать базовый лагерь. Они о чем-то совещаются и едут вверх по ущелью присматривать место получше. Разгружаться не торопимся, вдруг ехать дальше. Используем свободное время по восточным законам: через пять минут уже гудят примусы, на разложенной штурмовке появляется сахар, парварда, печенье. Полуголый народ обжаривается на солнце. Под редкими пыльными деревцами почти нет тени, а температура воздуха под пятьдесят. Недалеко от дороги поблескивает ниточка ручья. Недолго думая, мы с Кузеном запруживаем ручей своими телами, переворачиваемся с живота на спину и орем от удовольствия. Не вода, а жидкий кислород! Подъезжает судейский ГАЗ-66. Объявлено: базовый лагерь будет здесь. Шеф, однако, мыслит по-иному. Посовещавшись с Эдиком Брегманом, тренером белорусов, он машет нам рукой: в машину. Едем вверх. Не доезжая развилки ущелья, останавливаемся и выгружаем свои пожитки. На наш взгляд, это место удачнее, но судьи решили, что все команды разместиться тут не смогут. Есть озерцо, ручей с водопадом, недалеко пастуший кош, где можно покупать сыр, айран, молоко. Отсюда ближе подходы к серьезным маршрутам.

Белорусы поставили палатки на берегу мелководного озерца, мы — поближе к ручью. Над ручьем нависает абстрактное архитектурное сооружение из камней-гигантов, образующих просторный грот. Ниже, у самой воды, еще один грот, поменьше. Сюда стаскиваем продукты. Как мы ни береглись, все же обгорели на солнце. Натягиваем рубашки и майки, но тело горит, словно обваренное кипятком.

Каждый занят своим делом. Работаем без лишних слов. Шеф, видно по всему, доволен, мы тоже. Палатки поставили в линейку, предвзительно расчистив для них площадки. Для кухни сложили ветрозащитную стенку, вырыли обязательную для каждого бивака мусорную яму. Устроились основательно. После расселения по палаткам Моншер (Ерофеев) и я идем на кухню помогать дежурным чистить картошку. Никто к этому нас не принуждал, но сильно уж настроение рабочее, прямо энергию девать некуда.

Перед закатом идем к белорусам купаться в озере. Искушавшись, отмечаем, что температура воды все-таки плюсовая.

После ужина проверяем ради. Работают нормально, слышимость хорошая. Трексы, пистолы и прочих помех почти нет. Рация — одна из очень нужных вещей на восхождении, и обращаемся мы с ней всегда более чем бережно. Связь может прерваться из-за мелочи: тряхнул корпус, подмочил батарейки, не выключил питание после сеанса. А внизу начнется беспокійство: спасгруппе дадут приказ быть готовыми к выходу; если возможно, пошлют под маршрут наблюдателей, чтобы убедиться вочую в отсутствии катастрофы. Больше всего в таких случаях расходуется нервной энергии, самой дорогостоящей.

Когда радики упакованы, Шеф вручает мне молоток, и мы пробуем изготовить несколько скайгуков<sup>1</sup>, чтобы завтра же опробовать их на скалах. Из богатого ассортимента альпинистской «кухни» наша промышленность уделила внимание очень немногим экземплярам. Выпускаются они в таком количестве, о котором принято говорить «кот наплакал». Половина необходимого снаряжа изготовлена альпинистами вручную или по частным заказам на заводах через сложный лабиринт знакомств и нигде не учтенных финансовых операций.

«Небесные крючья» мы выгибаем из восьмимиллиметровой стальной проволоки. На одном конце делается коготок, другой сворачивается колечком для крепления лесенки. На «мизерах», где пальцы держать не в силах, применяют скайгук. Даже если стена ровная и отвесная, скайгук можно закладывать в выдолбленные шлямбуром углубления. Раньше нам не приходилось пользоваться этим приспособлением, хотя оно известно с шестидесятых го-

<sup>1</sup> Скайгуки — «небесные крючья», стальные коготки для создания кратковременной точки опоры на отвесных участках с микрозацепами.



На леднике РГО.

дов. У нас «небесные крючья» приобрели популярность после турне американских альпинистов по советским альплагерям в 1977 году. Однако применяться они стали с некоторой опаской: крюк все же надежнее, хотя и отнимает больше времени на забивку и выдергивание. Но скайгук предназначен не для создания точки страховки, он только пособник на трудном участке. И времени он отнимает очень мало: наложил на зацепку, снял — вся работа. Прошел «ключ», иди дальше с крючьями. Другое дело — отсутствие навыков в использовании «небесных крючьев» на маршруте. Соскользни такой коготок, и заговорят о тебе в прошедшем времени. Выход один: тренироваться, осваивать. Канатоходец тоже не сразу выделяет свои трюки без страховочного троса.

Три моих крюка Коля бракует, не нравится изгиб когтя. Честно говоря, я сам не в восторге от своей продукции. Делаю выше.

## ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ВОСХОЖДЕНИЯ

В пять утра меня будит Витя Хан — парень из Омска, старый ходок по горам, любитель и собиратель бродяжных песен. Вдвоем готовим кашу и кипятим чай. Хан не дежурный, помогает добровольно. В горах это особенно ценится. В шесть часов мы уже выходим из лагеря. Подход к Тренировочной длинный, хотя кажется значительно короче. Горцы говорят: «Видеть близко — идти далеко». Идем-идем, а все не приближаемся. Памирский сюрприз! На

Тянь-Шане или Памиро-Алае, где мне приходилось бывать, можно довольно точно прикинуть по времени подход, а здесь все время обманываешься. Глаз без привычки, еще «не пристрелян». То, что это первый, акклиматизационный, выход, тоже много значит. Он всегда тяжелее, и идем мы, конечно, медленнее, чем хотелось бы. К концу сезона обычно с улыбкой вспоминаешь свои первые муки под рюкзаком. Такой удобный и легкий вначале, через полчаса он начинает ощутимо сдавливать плечи. Крутая извилистая тропа по морене ледника сбивает дыхание. Ледник РГО (Русского географического общества) относится к разряду крупных. Начинается он у стен Гармо и Комкадемии, а до этих вершин топтать да топтать.

Наддаем. Опыт прежних лет: через час вся лишняя влага из организма перейдет в одежду и шагать будет легче. Пересекаем ледник наискось в классическом стиле: пятьдесят минут ходьбы — десять отдыха. Пятьдесят минут густая кровь стучит в виски, а время кажется резиновым; десять коротких минут тело, оторванное от рюкзака, блаженствует. Ледник плавно изгибается влево. В середине изгиба сворачиваем к крутому зеленому склону. Подъем несложный, но очень уж нудный. Тело в одном положении, ноги закрепощены, нагрузку несут одни и те же мышцы. До небольшого каменистого плато поднимаемся по шею в сочной зеленой траве — зона альпийских лугов. В полчаса подъема от плато находим удобную широкую площадку. Снимаем рюкзаки, раскопегариваем примус и позволяем себе немного расслабиться. Восхождение акклиматиза-

ционное, спешить некуда. К тому же трое ребят чувствуют себя не лучшим образом — набор высоты был сделан большой и за короткое время.

Равняемся по темпу слабого. Через два часа выходим на вершину.

На спуске два раза встретились медвежьи следы. С опаской помечтали увидеть самого мишку. Спускаемся по пути подъема — по траве. Распугиваем целые выводки горных куропаток.

Пока пересекаем ледник, во рту все высыхает. Большой перепад высоты (почти два километра) и чертями мощеная тропа по леднику вытягивает из организма последнюю воду. Ледник в своей центральной части почти не имеет крупных валунов, они всегда громоздятся по ранту. Лед здесь припудрен мелкой пылью, в которую нога уходит по щиколотку. Даже легкий ветерок поднимает эту пудру на воздух. Она давно уже коркой обложила небо, словно в рот мне всыпали горсть цемента. Когда я сглатываю воображаемую слюну, язык приклеивается к небу и с противной липкостью от него отдирается. Глотать больно. Погода не солнечная, какая была с утра, но и не облачная. Небо как будто полили мутным канцелярским клеем и притрусил металлическими опилками, такой у него нездоровый стальной цвет.

В лагерь приходим незадолго до наступления темноты.

Утром делаю из армейского рюкзака подобие высотного: ушиваю его, суживаю, закрепляю капроновой нитью ляжки. Это второй рюкзак. С двумя в горах удобнее. С одним ходишь, второй остается в лагере под личные вещи — все манатки таскать за собой ни к чему. Коля выстраивает группы и зачитывает приказ. Леша Алмазкин ведет свою компанию на разведку плеча вершины Кулизов, снежная шапка которой виднеется над лагерем. Еще четверка, куда попадаю и я, идет присматривать стену помощнее в ущелье Равак — на случай участия команды в техническом классе. Шеф с Киселевым, куда не пристроенные, пойдут к развилке в лагерь ленинградцев, приехавших выступить на первенстве Союза. Они прибыли раньше нас, знакомы с районом и могут дать ценные консультации.

Разведка наша успешная. Северная стена пика Равак — просто красавица. Протяженность на глаз больше одного «кило» и отвес впечатляющий. С точки зрения технической она выглядит «стеннее» окружающих стен. Всем хороша, но с норовом — швыряется камнями. А по центру, где вертикаль наиболее выражена, безопасно. Фотографируем всю Равакскую подкову — ущелье красиво замыкается изогнутой грядой гор — и спешим в лагерь. Наша группа возвращается первой. По приходу остальных купаемся в озерках, ставших, пишем письма домой и отлаживаем ледовое снаряжение — Памир без льда немислим. Перед ужином Бугорок проверяет у всех состояние здоровья. Контрольные измерения не превyšают нормы, команда здорова. Хорошо!

## СИБИРСКИЕ НОЧЕВКИ

С утра, не дожидаясь завтрака, сворачиваем палатки, укладываем нужные вещи в рюкзаки, запаковываем ненужные (вот когда пригодился второй рюкзак), чтобы оставить здесь. Коля запланировал небольшую серию восхождений с ледника Комсомольский. Это далеко от лагеря, будем временно перебазироваться.

Только прошли развилку ущелья, как нас догнал парень из белорусов и передал Толе Киселеву срочную телеграмму. Короткий текст: «У брата несчастье. Ждем тебя. Мама». Толик с каменным лицом передает нам веревку, примус, часть продуктов и молча уходит. Идем дальше не разговаривая, без обычных шуточек. Телеграмма омрачила всех, и каждый по-своему переживает за Кису и его брата.

Ледник РГО отнимает у нас пять часов ходьбы. За это время вытягиваемся в общий рабочий ритм, который примечателен автоматизмом движений. Так идти можно долго даже с тяжелой кладью. Тело расслаблено, ноги работают самостоятельно.

Ледник Комсомольский круто свесил над РГО потрескавшийся язык, уходящий вверх крупными ступенями. Оставляем на них серпантинную цепочку следов. Солнце прижаривает с самого утра, но это уже привычно. Донимают мухи — вот это беда.

Весь день подхода отдан тяжелой «пилежке». На сравнительно ровном месте разбили лагерь. Под палатки выложили прямоугольники из плоских камней и засыпали щели между кладкой мелкими камушками — все мягче спать.

Нашей группой руководит Юра Ушаков. Юра преподает химию в военном училище и имеет звание капитана. С самого начала экспедиции кто-то (кажется, Моншер) произвел его в майоры. Ушаков на обращение «товарищ майор» откликается охотно и не выказывает недовольства. Пожалуй, самое ценное его качество — невозмутимость и спокойствие. Говорит он ровным голосом, лицо при этом совершенно бесстрастное.

Вершина Трапедия оправдывает свое название лишь со стороны Ванчского ущелья, а с ледника Комсомольский она похожа на белую бугристую крокодилью спину.

У начала маршрута легковесный Хан умудрился провалиться в закрытую трещину. Жека вовремя протянул ему древко ледоруба. Первое предостережение гор: парни, будьте внимательны! Подъем несложный: крутой фирн, средние скалы, местами короткие участки льда. Набираем положенные четыреста метров по вертикали, и вот он — вершинный тур. Записка четырехлетней давности. Поджидаем вторую группу, кипятим для них чай и пробуем «привязаться» к карте. Не обходится без разногласий. Карта позамыслена у томских туристов, а они больше предпочитают обозначать перевалы. Только наиболее значительные вершины имеют на карте собственные имена, остальные — безымянные треугольнички.



Подходит группа Шевченко. Коля подзывает меня и тычет пальцем в сторону красивой горы на той стороне ущелья.

— Пик Тбилиси, — говорю я.

— А это?

— Вроде Белый Купол...

— Эта?

— Пулковская, что ли...

— Тогда вон та?

Поди их разбери, если видишь в первый раз. Я говорю наугад. Шеф вполне серьезно обещает:

— Через два дня не выучишь панораму — будешь кашу варить в лагере. А мы на горы походим. Ясно?

Куда уж яснее. Скоро идти на пик Хрустальный по 5 Б.

## ТУРЕЦКИЙ ПОХОД

Путь к пику Хрустальному неблизок. Надо пройти до конца Ванчского ущелья и свернуть направо, к языку ледника Медвежий, который перехлестнул ущелье Мертвый Сай. Язык ледника — это мост для прохода в длинное ущелье Дустироз, расположенное почти параллельно Ванчскому. В конце него — наш пик. Маршрут пролегает по центру северной стены. Описания у нас нет, будем выбирать путь сами. Руководитель Кузен, состав группы: Шеф, Хан, Самсонов и я.

Чуть сзади нас идет вторая группа на траверс двух вершин, за которыми альпинисты утвердили неофициальные названия Чук и Гек. Это соседи Хрустального.

Язык Медвежьего — неповторимое зрелище, как, впрочем, и все в горах. Тепло ледника лежит на изломанном скальном ложе, поэтому поверхность его вся в трещинах. Наклонное положение ледника способствует более быстрому его движению. Постоянные подвижки льда привлекают внимание гляциологов, они наблюдают за ледником весь летний период. Незадолго до отъезда в горы я прочел в «Комсомолке» заметку «Взбунтовавшийся ледник». В ней говорилось об ускорении таяния и движения льда в нижней части ледника. Это не ново. Медвежий регулярно устраивает сюрпризы. Вот и сейчас он неспокоен — ломается с грохотом лед. Язык представляет собой скопище огромных ледовых глыбин-сераков, черных от облепившей их каменной крошки. Когда обрушивается одна из башен, воздух содрогается. Грохот как от упавшего кирпичного здания. Хотя сераки обрушиваются неподалеку от нас, я никак не могу разглядеть, какие именно. Наконец замечаю, как одну черную глыбину выскользнув пересекает голубая трещина, и — вот она, горная симфония! Трах-тах-тах!.. Пока я смотрю на это чудо, ребята уходят вперед. Догоняю их на противоположной стороне ущелья.

Однажды здесь в период обильного снеготаяния образовалось озеро. Ледник сдерживал воду, и озеро грозило выплеснуться мощным селем — явление весьма нежелательное для жителей поселка Дальний. Людям пришлось тогда много поработать, чтобы отвести опасность.

По густо заросшему травой склону выбираемся в Дустирозское ущелье. Тропы не видно. Выворачиваем ноги на крутыяке, отчего они быстро устают, а потом деревенеют. В таких условиях топаем шесть часов подряд. По истечении этого времени мы оказываемся лишь вблизи Хрустального. До начала маршрута еще придется попотеть. К нему ведет крутой снежный кулуар, весь усеянный упавшими камнями. Падаёт как слева, с террасообразного гребня Гека, так и справа, с отрогов северной стены Хрустального. У входа в кулуар лежит огромная глыбина в несколько кубов, треснувшая пополам. Снег под ней еще не подтаял, а свежий скол пахнет серой. Значит, ухнула она незадолго до нашего прихода. Стена не такая уж безопасная, как кажется издали. На подходе к Медвежьему мы видели ее верхнюю часть: круто и красиво! Теперь ощущение красоты по-прежнему улетучивается, хотя мимоходом глаз отмечает прелести предстоящего лазания. Стена напоминает неправильный треугольник, верхний угол которого переходит в узкий снежный гребень, ведущий к вершине. Сам пик увенчан двумя растопыренными скальными пальцами. В верхней части стены ясно различается широкий рыжий пояс. Это, по-видимому, разруха высшей степени, так как большинство упавших камней именно рыжего цвета.

Перекусив и вдоволь наглядевшись вокруг, начинаем долбиться вверх. Не проходим и полсотни метров, как со стены летят камни. Много камней. Сворачиваем к левому борту кулуара, где опасность по нашим подсчетам меньшая. Камни продолжают лететь с вольной периодичностью — стена «разговаривает». Небо задрапировано плотной облачностью. Куда девалась тропическая жара? Прохлада освежает уставшие мышцы. Легче дышится, лучше идется. День перешагнул среднюю отметку. Сегодня на маршрут выходить нет резона, и мы присматриваем место для бивака. Лучше выпастись как следует и пораньше встать, чем после трех-четырех часов лазания всю ночь виснуть в беседках неизвестно где.

К вечеру стену совсем «развезло», и она молотит камнями почти без передышки. Я никогда не видел такого обилия камнепадов. Гудит и свистит на все лады! Звук падающего камня зависит от его величины и формы. Вот нарастающее низковатое гудение — это пошел большой и округлый бульган. Он стучит о выступы коротко и веско, сразу чувствуешь, летит «начальник». Вот жужжание (до чесотки в ухе) — это «коржик», плоский. В снег он врезается с коротким «плт!» Вот по центру стены потек целый ручей грязной мелочи, будто наверху перевернули машину гравия. Мы уже отметили наиболее опасные участки стены. Все они правее маршрута, который мы выбрали. Иногда и там пролетает срикошетивший обломок, но редко.

Засыпаем под «каменную музыку».

Серое облачное утро мы даже готовы приветствовать, если бы не противный морозящий дождь. По мокрому разрушенным скалам ходить не только неприятно, но и небезопасно. С полчаса выжидаем.

Хуже всех Самсону — он дежурный, его место на природе. Завтракаем неизменной манной кашей и чаем: плотно покушаешь — тяжело пойдешь. Порции не обильные, однако никто не ропщет.

На восхождении учитывается каждый сухарь. Это не в лагере.

В половине девятого выходим. Дождик выдохся, но воздух пронизан холодной сыростью, не освежающей, а тяжелой, погребной. Зато подул обнадеживающий ветерок, он и заставил нас начать движение. С молчаливого согласия руководителя цепляю на грудь все железо и иду первым. Никто не говорил мне об этом, но я понимаю, что Шефу надо посмотреть меня в работе. Из всех членов группы нет схоженности только между ним и мною. Описания маршрута ни у кого в округе не оказалось, поэтому выбрать путь приходится самостоятельно. Нацеливаюсь на вершину скалы, напоминающую перевернутую морковку. Осторожничаю, хотя не очень сложно. Во-первых, еще не размялись, во-вторых, резина вибрама на мокрых скалах держит не лучшим образом.

На вершине «морковки» находим первый контрольный тур — значит, начало маршрута выбрано правильное. Записка ребят из Донецка трехлетней давности. Они делали первопрохождение.

— Выходит, мы вторые первопроходцы, — говорит Шеф.

Веревки через три стена становятся круче. Она все так же разрушена. Пускаю в ход закладухи. Все очень собраны и внимательны. Уходя вверх, вижу, как Кузен напряженно следит за моими движениями, не выпуская из рук веревки.

До второго контрольного тура лазание ничем не примечательное: очень разрушенные скалы средней категории трудности. «Разруха» сильно сдерживает нашу скорость. Приходится осторожничать в самых простых местах, чтобы не спустить на головы товарищей «подарочный набор». На таком маршруте камни в одиночку не летают. Второй тур сложен на скальной площадке. Мы вышли прямо на нее. В пятнадцати метрах от площадки круто, почти отвесно, уходит вверх черная стена. Во всю ширину по ней тонкой искрящейся пленкой сбегает вода. Вода порядком разрушила стену. От подножия стены к нам тянется черный фартук осыпи из упавших камней. Осыпь крутая. Брать стену «в лоб» нет смысла. Есть два пути: вправо и влево. Решаю траверснуть влево. Оглядываюсь на Кузена, он не возражает. Гребешок, на который я хочу попасть, отделяет от площадки пятиметровый провал, косо переходящий в обрыв. Туда меня что-то не тянет. Выхожу под стену, чтобы сделать траверс, придерживаюсь за нее. По пути разрываю осыпь и забиваю в трещину крюк. По звуку чувствую его ненадежность, но выбора трещин нет. С запозданием спохватываюсь, что надо было забить крюк еще на площадке. Кто-то из парней исправляет мою ошибку. Под стеной делаю четыре маленьких шажка влево и замираю. Для рук нет ни одной хорошей зацепки, за которую можно прижаться, а под ногами все дрожит и вот-вот гото-

во съехать вниз. Понимаю, что влез не туда. Парни тоже видят это и орут:

— Спускайся и уходи маятником!

На меня сверху льется вода, руки коленеют. Осторожно пробую сделать шаг назад, но руки вдруг вылетают из-под меня, и я в паучьей позе съезжаю метров на пять вместе с кучей щебня. Останавливаясь в метре от обрыва. Слышу иронический голос Шевченко:

— Давно бы так.

Минуты две, пока я отряхиваюсь и обкусываю завернувшийся ноготь, снизу вразной летят советы, один из которых: «Вернись, я пройду». Ну нет! После такого позора я не уступлю место. Кричу:

— Пошел на маятник!

Галдеж затихает, и я чувствую, что веревка натягивается. Слышу: «Готово!» Крюк, который я забил среди осыпи, выше меня метров на пять. Сейчас, когда я на закрепленной веревке быстро побегу влево, вся нагрузка придется на него. То, что он ненадежен, я помню, но забил я его на излом, а не на выдергивание. Это удваивает мои шансы. В другое время я бы не пошел на маятник с такой полустраховкой, но сейчас я звинчен. Хватит того времени, что отнял у группы. Натягиваю веревку и нагружаю ее — держит. В три секунды вылетаю на гребешок. Выбираю слабинку. Бить крючья некуда — все разрушено до предела. Обмотав конец веревки вокруг ног, сажусь по другую сторону гребешка и кричу:

— Перила готовы! Крюк убери — хилый!

Кузен поднимается к крюку и без труда вытаскивает его рукой. Парни проходят по перилам через провал (вот где сразу нужно было идти!) и, хмурые, выбираются ко мне. Коля бросает в сторону:

— Посчитай, сколько времени задаром ухлопали.

Что скажешь? В такой ситуации промолчать — самое разумное. Покуда Самсон выбирает Кузена, я прохожу метров пятнадцать. Лазание усложняется, чаще идут в ход крючья. Двумя веревками выше в неудобном для перестежки месте пропускаю вперед Хана. Витя уходит влево за угол и там надежно застревает. Слышен его спокойный голос:

— Могу сорваться. Внимательнее.

Коля так же спокойно говорит ему: «Закрепись» и подталкивает меня. Вылезаю за угол и вижу, что Хан выбрал не самый удачный вариант. Балансируя на двух зацепках, забиваю ему крюк для самостраховки и прощелкиваю в него свою веревку. Договариваемся: я пойду ниже и влево, а когда выйду, Хан веревку выстегнет, чтобы избежать ненужного перегиба. Так и делаем. Этот инцидент меня подбадривает. Наверное, так устроен человек: на фоне чужих ошибок свои кажутся не такими уж значительными.

Дальше, вплоть до третьего контрольного тура, стена представляет собой крупное нагромождение живых камней. Попался лишь один сравнительно «крепкий» участок, но и он оказался карнизом. Потребовалась лесенка. Четыре раза пришлось пересекать камнеопасные кулуары. Ощу-

щения не из приятных. Учитывая возможность камнепада, мы так быстро и четко проходили эти места, что я диву давался: шли на предельной скорости, хотя рельеф был достаточно сложен. (Забегая вперед, хочу сказать, что, несмотря на крайнюю разрушенность маршрута, мы не спустили ни одного камня.)

В половине шестого увидели над собой снежный карнизик. Это означало конец лазанию — скоро вершина! Но до снега нужно пройти не меньше трех веревок. Стена здесь еще круче. Она такая же разрушенная, только камни слегка сцементированы льдом. Пробую один руками. Он готов вывалиться. Шатаю второй — как будто держится.

— Савва, — это Кузен, — давай я пойду, а то ты и так с утра вкалываешь.

Я отрицательно мотаю головой и ухажу вверх. Нет, теперь уж до конца. Эти три веревки для меня самые престижные после злополучного траверса.

Когда мы всей пятеркой выбираемся на снег, заходящее солнце уже раскрашивает причудливыми цветами облака над Ванским ущельем. Вершина недалеко, но сегодня идти на нее ни к чему. Здесь нет ветра, тихо и спокойно. Вытаптываем в пушистом снегу площадку, которая больше походит на вольную яму, и забираемся в палатку. В конце такого дня самое приятное — это снять тяжелую промерзлую обувь. Ни вкусный ужин, ни горячий чай, ничто другое не создает ощущения свободного покоя, как эта процедура. Поработали днем хорошо, и мне кажется, что заснем мы как убитые. Однако, вопреки всему, ночь не приносит отдыха, так необходимого нам. По выражению Хана, это была ночь кошмаров. Палатку на ночь не застегивали, но все равно казалось невыносимо душно. Я часто высовывал руку наружу, хватал жесткий снег и набивал им рот, чтобы хоть немного освежиться. Тесновато все-таки впятером в одной палатке в четырехместном спальнике.

Утром вылезаем, как из курятника, все выделанные в пуху. Внутренняя оболочка нашего «конверта», считая из какой-то гладкой ткани, оказалась недостаточно плотной преградой для мелких пушинок. У меня даже борода «поседела». Погода не радует. Небо заволочено непробиваемой облачностью. Облака ниже и вокруг нас. Видимость чуть больше десятка метров. По стене в таком молоке идти не хотелось бы. Хорошо, что она пройдена. Сворачиваем жестяную палатку, сматываем одеревеневшие веревки. Обе веревки в двух местах подпорчены камнями. Вяжем в разлохмаченных местах австрийские узлы и начинаем подъем к вершине. Уже через сорок минут читаем записку из вершинного тура.

Флегматичный ветерок постепенно обрывает в тучах просвет, и мы увидели на востоке путь спуска, который рекомендовали в записке предыдущие восходители. Шеф критически оглянул его: длинен и на гребне много «жандармов». Посмотрел в противоположную сторону. Западный контрфорс положе, но с вершины не видно, чем он заканчивается.

Коля в сторонке беседует с Кузеном, и тот вскоре объявляет:

— Спускаемся на запад.

Самсон что-то бормочет под нос, но в открытую не говорит ничего. На пологих участках мы почти бежим, на скалах подстраховываем друг друга. Спуск всегда приятен. Тело почти расслаблено, идут только ноги. И странное сочетание душевной приподнятости с легкой опустошенностью! В подсознании все же держится мысль, что работа еще не закончена и радоваться рано.

За полчаса мы отдаем порядочно высоты. Неожиданно натываемся на обрыв — громадный, отвесный и гладкий. Слева от нас сбегает вниз ручей. Он падает колышущейся лентой метров на пятьдесят, разбивается о небольшой уступчик и, ни за что не задевая, летит в пропасть уже до самого дна ущелья. Стены обрыва вначале будто полированные, дальше видны незначительные выступы. Справа вид такой же, только нет ручья. Стоим молча. Ситуация не обыденная. У нас есть руководитель группы, с нами тренер команды. Первое слово им. Они пока раздумывают. Из Самсона внизу трудно выдавить два предложения подряд, но сейчас он горячится.

— Чего стоим? Поехали вниз! Один мастер и четыре КМСа не спустятся по этому отвесу?! Чешем затылки, как значкисты! Повисим в беседках, зато время выиграем. А то опять поднимайся, да? Куда к черту!

Шевченко часто моргает (верный признак того, что злится), и мне кажется, что глаза его сдвигаются к переносью. Он спокойно объясняет, что спускаться здесь — полнейшее безрассудство, потому что в такой породе трудно найти место для забивки крючьев. К тому же веревки перебитые, с узлами. Как их продергивать последнему на спуске?

— Раз уж запоролись, — говорит Шеф, — нечего пороть горячку. Будем подниматься вверх и траверсировать влево по крутым осыпям. Спустимся по четверочному маршруту.

Обсуждаем этот вариант и останавливаемся на нем. Самсон заканчивает спор известной пословицей о голове, за которую расплачиваются нижние конечности.

Медленно, без всякого энтузиазма, «пилим» наверх. Ох, и утомительная же это работа, когда ты настроен идти вниз, и душа твоя уже там, на зеленой поляне, пахнущей цветами. Я даже с тоской вспоминаю об оводах, тысячу раз проклятых на подходе. Через два часа этого ужасного пути выходим, наконец, к западному гребню, который классифицирован четвертой Б категорией трудности. Черт с ней, с категорией! Главное, чтобы гребень был хоженный. Это значит, что он не оборвется умопомрачительной стеною, а выведет куда надо.

В разных местах закладываем пять дюльферов. В основном спускаемся лазанием. Уже хорошо различимы камни в снежном кулуаре, откуда мы недавно начинали подъем к маршруту. Уже видны желтые пятна цветов, растущих среди буй-

ных трав, окаймляющих речку Дустироз. Связка Кузен—Шевченко спускается последней. От них доносится:

— Савва, иди вперед в лагерь! Сними контрольный срок! Мы позже подойдем!

Наш контрольный срок кончается сегодня в восемнадцать ноль-ноль. С лагерьем связи не было, но вчера группе Валаева, которая взбиралась на Гека, передали, что находимся в двух шагах от вершины и что у нас все в порядке. Жека, конечно, передал информацию Алмазину. Теперь, даже если мы задержимся, Леха не будет поднимать зряшную тревогу. Другое дело — мы не уложимся в контрольный срок. За это не засчитывают восхождение.

На большой скорости глissирую по снегу и с ходу вылетаю на траву. Запах трав и цветов настолько густ и неожидан, что поначалу одурманивает. Опять свистят сурки, как постовые милиционеры. Оводы выплывают круги и прицеливаются. Я не обращаю на них внимания и улываюсь надежностью почвы под ногами. Вырвавшись из царства скал, снега, «каменной музыки» и безжизненной тишины, по-другому воспринимаешь обжитую природу, словно органы чувств обновились или переродились полностью. На левом берегу реки хорошо видна старая дорога на заброшенный рудник. Если встретится крепкий снежный мост, надо выбраться на него, не то придется повторить позавчерашнее хождение по мукам. У самой реки, словно подстигая мое умиление божьими мушками и цветочками, колышутся тонкие березки. Надо же, здесь, в Таджикистане! Поднимались сюда — едва их заметили, а теперь тянет подойти к ним, потрепать белые стволы, потрогать личотки. Но я пробегаю мимо — время! На той стороне реки показываются четыре палатки и около них люди. Чуть ниже палаток — долгожданый снежный мост через реку. Мне машут руками: перебирайся к нам! Изрядно запыхавшись, вылезая на противоположный берег. Здравоваемся.

Парни встревожены. Спрашивают, что стряслось, почему бегу один. Я их сильно напугал. Подумали, случилось несчастье, вот и бежит человек за помощью. Ребята из Томска, хотят пройти маршрут после нас. Коротко объясняю им нашу ошибку в выборе спуска, чтобы не повторили, отказываюсь от предложенного чая и бегу вниз по дороге. Пробежав немного, переобуваюсь в кроссовки, которые брал на подход, чтобы не бить дорогостоящие вибраты. В такой обуви ног не чувствуешь. Знал я одного парня, который перед забегом наматывал круги по стадиону в сапогах и фуфайке. Все потешались над ним, но к финишу, как правило, первым прибегал он. Так и я сейчас в кроссовках бегу в два раза быстрее. Дорога кое-где сильно разрушена, но все же это дорога. Ледник Медвежий приближается. На выходе из ущелья я буду отрезан от него речкой Дустироз, а от дороги, которая ведет к лагерю, — речкой Абдукагор, вытекающей из-под языка Медвежьего. Впереди нарастает гул. Дорога резко сворачивает влево и обрывается. Вот это да! Настоящий Рейхенбахский водопад. Кричу от восторга:

«Ого-го-го!» Не слышно собственного крика. Высоко вверх струя огромной толщины вылетает из гигантского каменного желоба, летит вниз сверкающей дугой и разбивается вдребезги о крупные валуны. Вода пролипла почва до камня, и стенки желоба никак не ниже пяти метров. Мощная струя захвряет воздух и создает сильнейший сквозняк. Мириады мелчайших капелек дрожат в воздухе. Радуга на расстоянии вытянутой руки. Я делаю два шага вперед, и она исчезает, отступая назад — снова появляется. Как жаль, что нет фотоаппарата.

Пока перебираюсь через водопад, вымокаю до нитки. На метровой высоте висит над водой густая стена мелких брызг. Через двадцать шагов водопад уже не слышно. Дорога начинает закручиваться серпантин вниз, в ущелье Мертвый Сай. Уткнувшись в морену, она пропадает. На противоположной стороне ущелья, чуть наискосок, стоят на взгорке щитовые дома поселка Дальнего. Постоянного населения там нет. Здесь живет разный рабочий люд, которому есть чем заняться в короткий летний сезон. Зимой же тут не бывает никого. Морена, на которой я нахожусь, тянется в сторону Ванчского ущелья и, круто взлетая вверх, переходит в травянистый склон. На этом склоне едва заметна ниточка тропки. Чтобы попасть на проезжую дорогу, ведущую к лагерю, нужно найти брод через речку Абдукагор. Удобного места для переправы не видно, да и не хочется мне лезть в воду, честно говоря. Во-первых, похолодало, во-вторых, тропка на склоне выглядит слишком заманчиво. Перебрав ногами всю морену, выхожу на тропку и поднимаюсь по ней на вершину взлета. Здесь сложен гурий. В него воткнут шест, которым пользуются гляциологи. На верхушке щита трепещет цветастый флажок. Через сотню метров тропа исчезает в густом и колючем кустарнике. В поисках ее я подхожу к краю обрыва, нависшего над рекой. С высоты река кажется не такой буйной. Мне видно узкое место, удобное, на мой взгляд, для переправы. Три огромных валуна расположены почти рядом. Четыре прыжка — и ты на том берегу, а там дорога, ведущая в лагерь. Через полтора часа лежишь в палатке и тынешь горячий чаек. Возвращаюсь на тропу и спускаюсь к валунам. Здесь когда-то был небольшой мостик из металлических труб. Видимо, его снесло водой — трубы покорежены и чуть ли не завязаны узлом. На всякий случай подбираю ржавый лом, бесхозно лежащий на камнях, и, опираясь на него, скачками добираюсь до первого валуна. На второй валун перебираюсь легко, благо он в каких-то двух метрах от первого. Третий, самый желанный, который, по существу, лежит уже на том берегу, останется, видимо, непокоренным мной. Метра три с половиной отделяет меня от него, но какие метры! Вода, сдвинутая щеками валунов, проносится в этих тисках с такой скоростью и под таким напором, что на нее даже глядеть страшно. Сунь палец — оторвет! Я бросаю вниз булыжник. Вода подхватывает его, как мячик, и уносит, не допустив до дна. Вот это

я влип! Я представляю, как это бешеное течение тащит меня в кипящий водяной котел, бьет о камни, крутит, швыряет, как щепку, и мурашки пробегают по влажной спине. Не думая больше о подобной переправе, поворачиваю обратно. Мимоходом пробую использовать лом в качестве шеста. Не тут-то было! Его относит, словно сухую будылинку. Прыжки с шестом отменяются. Черт возьми! Есть же отсюда какой-то выход. Прямо-таки заколдованное место. Можно идти поверху, где стоит гурий, но на бестропье времени уйдет много. Впрочем, пытаюсь переправиться, я израсходовал его тоже немало. Главное, оказаться на дороге. Я смотрю на бесчисленные протоки у языка Медвежьего. Ледник сдерживает речку, и вода, пробившись сквозь ледовые лабиринты, не успевает сразу набрать большой скорости. Как это мне сразу не пришло в голову, не понимаю. Мокнуть, видите ли, не хотелось! Скорым шагом иду в направлении ледника. На полпути замечаю своих парней: Они идут к гурию. Шеф призывно машет ледорубом. Показываю ему на язык ледника, но Коля отрицательно качает головой и в свою очередь рассказывает на тропу.

Догоняю их и коротко объясняю: что, как и почему. Шеф бросает:

— Ладно.

Тропа постоянно играет с нами в прятки: то пропадает, то вновь появляется где-то в стороне. Склон усеян колючей растительностью, которая треплет одежду, царапает руки и ноги. Не за горами вечер. В двадцать ноль-ноль связь. Лагерь близко, но услышать друг друга мы не можем. Опять мешаёт перегиб. По рации мы могли бы продлить контрольный срок, а теперь остается одно — нажимать. Остался час светлого времени. Идем в полную силу, почти бежим. Когда тропа теряется, скользим на сочной траве, хватаемся за камни, чтобы не упасть, но скорости не сбавляем. Уже в сумерках натываемся на избитую коровью дорожку. Бежим по ней, радуясь удаче. Она должна вывести нас прямо к лагерю! Когда окончательно темнеет, коровья тропа бесследно исчезает в широкой осыпи. До поворота в Ванчскую долину осталось совсем немного — под нами слабо просматривается мест на развилке ущелья, от которого до лагеря четыреста метров. Справа от нас склон все так же обрывается в реку высоченной стеной, слева на фоне мрачного неба с трудом угадываются размытые очертания скал. Мы стоим на небольшом уступчике среди разнокалиберных валунов. Полулежа ночевать можно, но этот вариант оставляем на крайний случай. От Ванчского ущелья нас отделяет лишь скальная гряда, нависшая над нами. Пытаемся пройти ее «в лоб», но тут же раздаётся чей-то крик:

— Камень! Осторожно!

В темноте от камня не увернешься. Не видя зацепок под руками, можно сорваться даже на простых скалах, а мы не знаем, простые ли они. Придется ночевать здесь, на уступчике. Хан и Самсон заворачиваются в растеленную палатку, Кузен и Шеф забираются в «конверт», а я натяги-

ваю на себя что есть в рюкзаке и сворачиваюсь собачьим клубком под ближайшим камнем. Все это мы проделываем только после того, как пристегиваемся к веревке, тщательно обмотанной вокруг крупных валунов. Ледорубы, рюкзаки застрахованы на репшурах.

Ну и ноченька! Со стороны Дарвазского хребта на нас наваливаются тяжелые облака. Заворачиваюсь поплотнее в пуховку и стараюсь натянуть ее до пяток. На голом животе сушатся сырые носки. Собираюсь их надеть поверх других, когда ноги окончательно заоченеют, — к этому времени носки хоть малость подсохнут. Моросит. Пуховка быстро намокает. Сыро. Холодно. Внизу поблескивают огни Дальнего. До рассветных сумерек удается урывками вздремнуть.

Меньше часа добирались до лагеря. После такой ночи какими уютными и желанными кажутся нам наши крохотные перкалевые домики! Несмотря на ранний час, Леха давно на ногах и поднял всех, завидя приближение группы. Нас не без юмора поздравили с успешным завершением восхождения и усадили за стол. Борщ, ожидавший нашу компанию с вечера, быстро подогреет. Пока мы разделяемся с ним, компотом и холодным айраном, вскипает чай. С каменным желудком я добрал до своей палатки, скинул разбитые вдрызг кроссовки и мгновенно уснул поверх спального мешка.

В половине одиннадцатого для нас сыграли побудку. Снова завтрак, на этот раз легкий. Не откладывая, сели за разбор восхождения. Первыми были чук-и-гековцы, за ними мы. После долгих разговоров восхождение засчитано не было. «Против» никто из нас не проголосовал. Это была правдивая и искренняя оценка самих себя. Оценка неслетная. Но очковитательство в альпинизме бессмысленно, больше того — губительно.

## УШАКОВСКИЕ РЕФОРМЫ

После обеда Шеф, Компаниец и Кузен собираются ехать в нижний лагерь, чтобы согласовать с начальством программу дальнейших действий. Мы в это время лихорадочно дописываем письма. Когда ребята уезжают, я от нечего делать иду на кухню помогать дежурным чистить картошку. Вскоре там собираются все оставшиеся в лагере. Говорим о предстоящей жеребьевке. Мы знаем, что вообще-де внимание приковано сейчас к трем пикам: Революции, Комакадемии и Бастиону. Последний альпинисты чаще называют Бастилией — как-то внушительнее звучит. Эти горы, безусловно, лучшие каждая в своем классе. Конечно же, при жеребьевке будет «давка»: если выпадет высотный класс и первоочередность выхода на маршрут, то команда закажет Революцию, так как ее стены больше других претендуют на «золото». Если класс высотнотехнический, то здесь самая желанная — Комакадемия, если технический, то Бастион.

К вечеру появляются тучи. Становится холодно. Немного отдохнем от солнца.

У меня давно сошла кожа с плеч, облупился нос и уши. Мочки ушей и носовая перегородка потрескались, как дерматин на морозе, и кровоточат. Это результат действия отраженных лучей.

С утра смазываю вибрымы водоотталкивающей смесью из хлопкового масла и стеарина. Проверял фирменную мазь, но она годится лишь для солнечной погоды, а чуть сыро — кожа ботинок промокает. Парни подбивают трикони. Они у всех поизносились, на некоторых подошвы почти «лысые». Как говорил один новичок инструктору: «На моих прохорях гусеницы поотлетали».

В полдень вернулись на машине ребята, ездившие в судейский лагерь. Привезли кучу продуктов, а с ними новые заботы Хану. Альпинистские новости: Компанияц, Кузен, Алмазкин и Саликов выпущены на Бастион по маршруту В. Солонникова. Очень сильная пятерка Б. Еще пятерым (Самсонов, Малышев, Хан, Ушаков и Морозов) разрешено первопрохождение на вершину, обозначенную на карте высотой 5.324 метра. Во время первой разведки мы рассмотрели ее восточный гребень и предположительно оценили четвертой категорией трудности. Но все маршруты выше третьей категории рассматривает Москва, а это долго. Поэтому единогласно решили «заказать» тройку Б и обойтись утверждением маршрута Таджикской республиканской федерацией альпинизма. Для будущих восходителей такая заниженность ничем не грозит.

Парни не в восторге от выбора места для нижнего лагеря. Если в момент приезда оно не очаровало нас своей красотой и удобством, то теперь вообще смотреть не на что. Последствия стоявшей жары: высохший ручей, раскаленная земля, пыль на выгоревшей, пожухлой траве. Живут там, как палестинские беженцы. Наш хутор во всех отношениях лучше.

Вечером возвратились с Хрустального томичи. Гору они сделали безо всяких приключений, но на отходе плутали, как и мы. Тоже ночевали в двух шагах от лагеря на «коровьем перевале». Поистине заколдованная гора, этот пик Хрустальный!

После завтрака фельдмаршал Ушаков (внеочередное звание присвоено Моншером) со скрупулезной точностью блокадного начпрода разделил продукты и снаряжение. Выстроив нас и подровняв, Юра доложил Шефу о готовности группы к восхождению и повел в колонну по одному, без конца напоминая: «Из строя не выходить!» Сначала мы приняли это за шутку и попытались идти вольным шагом, Юра взъярился:

— Если не пойдете строем, я верну группу! Я руководитель!

Вот это оборот!.. Я только раскрыл рот, чтобы сказать: «Капитан, никогда ты не будешь майором», как Юра прикрикнул:

— Не разговаривать и не растягиваться!

Строем в гору... Ничего себе — альпинизм! Поначалу я не могу прийти в себя от столь необычных команд, потом мысли текут ровнее. Что возьмешь с больного, кроме анализов? Надо подчиняться, раз

руководитель, не терять же первопроезд из-за генеральской блажи. Настроение, конечно, уже не то. На горе самая незамысловатая шутка товарища — лучший допинг. Сразу откуда и силы берутся, и маршрут становится на категорию проще, и вверх идти желание появляется. Дисциплина — само собой, а тут... слов не хватает!

Поднимаемся к леднику Раватского цирка. Идем по крутому плотному снежнику — рай, а не дорога! Если не брать в счет неуслышанный надзор нашего полководца. То ли он дорвался до власти, то ли неправильно понимает слово «руководитель»? Во всяком случае ненужные команды летят одна за другой. Идущий впереди Самсон тянет серпантин влево, Ушаков тут же командует:

— Самсонов, влево!

Хан лезет на моренный взлет. Юра опять-таки берет инициативу на себя:

— Хан, давай на морену!

Меня он пока не трогает, но какое это имеет значение. Я задерган не меньше ребят. Первый раз иду на такое странное восхождение и — зарекаюсь! — в последний.

Ледник пересекаем быстро. Наш маршрут, скальная его часть, хорошо виден в профиль от перемычки до вершины. На гребне семь «жандармов», разделенные большими провалами. К перемычке ведет очень крутой снежно-ледовый галстук. Слева на всем его протяжении неровной каймой тянется отвесная стена небольшой вершинки. Правда, эта вершинка имеет высоту за 5000, но невысоко приподнялась над ледником и выглядит по сравнению с соседними ренессансом среди готики. Этот «ренессанс» должен исправно молотить камнями наш путь подъема.

Проходим бергшрудн. Здесь Юра выбрасывает очередной фортель: «Всем идти за мной!» И начинает подниматься по лавинному желобу. Хан криво усмехается, Самсон, как обычно, помалкивает, Толя Малышев — авторитетный человек, инструктор — еще внизу проходит бергшрудн. Я пробую артачиться:

— Юра, тебе не кажется, что здесь от камня и каратисту не увернуться? Весь мусор со стены сюда повалит. А солнце как раз пригрело, вот-вот у камней начнется расписание.

Юра полушепотом, но грозно, обрывает мою крамольную речь:

— Ты это почему пререкаешься!?

Если бы Шевченко или Леха, например, повел нас в этот желоб, я пошел бы безоговорочно, положась на их опыт и чутье, вышколенное не одним десятком гор. И то, замечу, лишь в том случае, если бы путь по желобу был вынужденный и временный, потому что камни летают, невзирая на авторитеты.

Только начали долбить ногами отшлифованное дно желоба, как сверху по нему пошел здоровенный «громотун». Мы заметались, как мыши в западне. Стены желоба гладкие и высокие — не выпрыгнешь. А камень — вот он, идет прямо на нас, все увеличивая скорость, бьется о стенки и выписывает непредугадываемые

зигзаги. Желоб узкий, метра два в ширину, ровной стрелкой круто уходит вверх. Мы хорошо видим, как камень «ищет» нас, бросаясь из стороны в сторону. Куда он ударит? Был бы хоть изгиб какой-нибудь, он бы мог вылететь на повороте из этой чертовой канавы или хоть скорость загасил бы чуточку. Желоб прямой, как по шнурочку! Когда мечешься, имеешь больше шансов встретиться с камнем. Замираем и прижимаемся к стенкам... Трах!.. Трах!.. Все, ушел вниз... Между Вовкой и Ханом на плотной, утрамбованной стене желоба небольшая вмятина. Могла быть большая кровь. Злость во мне все нарастает, и я, сдерживая ее, говорю Ушакову:

— Вылезай на снег, тактик...

Юра, слегка побледневший от испуга или от возможной ответственности, и тут остается верен себе:

— Выходим на снег!

Самсон втыкает в стенку ледоруб: ставновись на него — и в два приема наверху. Но Юра использует ледоруб только для поддержки равновесия, а сам выбивает добротные ступени. Делает это сосредоточенно и серьезно, как работу первейшей необходимости, без которой всему восхождению — хана! Я снова не сдерживаюсь:

— Юра, кому они нужны? Ты же сбросишь перила. А вдруг опять камень.

Юра молча работает. Когда Малышев и Хан выбирают наверх, опять раздается противное гудение. Ну вот, накаркал! Самсон спокойно выжидает и ныряет под камень, одновременно с ним падаю ничком и я, убрав под себя руки и сжавшись, насколько позволил костный скелет. Камень, ударившись перед нами о дно желоба, пролетел над головами с разбойничьим свистом. Хотя мы и пережили неприятные минуты, но после них команды стали слышаться реже.

Снежный галстук уходит влево—вверх. Он весь исчеркан лавинными желобами. Теперь это хорошо видно, а с ледника он казался гладким, чистым и невнимым. Стена пика 5.324 постреливает камнями, но они или сразу летят вниз по правую сторону от нас, или кувыркаются с медленным разгоном, давая полную возможность увернуться. Нужно было выходить с рассветом, когда камни держал утренний морозец.

Юра делит путь до перемычки на три части и отдает распоряжение:

— Первую треть иду я, вторую — Самсонов, третью — Морозов. Вопросы?

Какие к черту вопросы! Нет вопросов. Зачем накалять без того нездоровую обстановку. Смена ведущего всегда происходит по возникшей надобности, по усталости первого. Другое дело, когда на стену смотрят в бинокль и кто-нибудь из штурмовой группы говорит товарищам: «Мужики, вон та рыжая стенка с подтеками за мной. Застолбил». Это значит, что он присмотрел трудный участок, на котором можно применить высшую технику лазания и хочет на нем покоряться. А чтобы, стоя внизу, распределять по людям участки, вдобавок не зная, что они из себя представляют, — такого я не слышал.

Ушаковская треть пройдена. Теперь

идет «начальник второго участка» — Самсон, старая испытанная лошадь. Дома, в Новосибирске, кроме альпинизма, Вовка занимается лыжным марафоном. За его плечами пики Ленина, Евгении Корженевской, Коммунизма — три семитысячника. Самсон долбит ступени со знанием дела: уверенно, быстро и такие, как надо. По ходу дела я невольно заглядываюсь на него, и мне вдруг становится больше чем неловко. Вот парень, который ходил и видел больше меня, встречал ушаковых и почуднее, но он помалкивает и делает свое дело. Это не позиция «моя хата с краю» или «двое дерутся — третий не лезь», это разумное поведение опытного человека в конфликтной ситуации, единственно правильное. За одно восхождение Ушакова не перевоспитаешь, а значит, не стоит пытаться этого делать. Просто и ясно. А эмоции — на задний план.

Небольшой поворот влево. Здесь начинается треть, отведенная мне. Располагаемся на крохотном скальном островке и садимся, привалившись спинами к рюкзакам. Ушаков командует: «Перекур» и вручает нам по два куска сахара и печенюшке. Объясняет преимущества нашего тактического плана.

Снова идем вверх. Камушки постреливают чаще. Один камень я сумел обхитрить, но он за это отыгрался на руководителе. Отец-командир подставил под удар правый бок вместо рюкзака, в результате — приличная ссадина на ребрах и сопутствующие ей неудобства. Уже недалеко от перемычки пришлось идти по снежному кулуару: слева — стена, справа — лед. Мигом проскочили две веревки и только выбрались из кулуара, как по нему сыпанули «чемоданы». Удачно!.. Перевели дыхание. Дальше пошел натечный ледок — препротивнейшая форма рельефа. Используем для опоры вмерзшие камни, но десятка два ступеней все же приходится вырубить. На этом ледке меня чуть не сбросило камнем. Ударили два одновременно: один — по каске, другой — в плечо. Сустав припух, но рука работает.

До перемычки остается полторы веревки. Выход из нее преграждает ледовый козырек — красивый по форме и опасный по содержанию. Слева, у самых скал, есть дыра. Нацеливаюсь на нее. Тишина вокруг, только слышно тяжелое дыхание подошедших ребят. Рублю ступень и вдруг краем глаза вижу, что козырек надламывается, превращается в крошево и широким фронтом валится прямо на нас — молочно-белое клубящееся облако. Что есть силы вбиваю в наст ледоруб (он заходит только на треть) и весь прячусь под каской и рюкзаком. Сжимаюсь в тугую упругий комок, готовый уцепиться за первое попавшееся, если облако сбросит меня вниз. Автоматически отмечаю, что все парни стоят в таких же позах. Лыдины барабанят по нам, не нанося ущерба, но один кусок все же достает по большому плечу и застревает между ним и щекою. Взвешиваю его на руке — кило потянет.

Перемычка удобна для ночевки. Трое ставят палатку и готовят ужин, а мы с Самсоном налегке уходим на ребро для раз-

ведки. Через три веревки убеждаемся, что гребень «ходячий». На спуске оставляем переднюю веревку в начале маршрута. Ужинаем и укладываемся. Юра вместо спальника захватил какие-то ватные штаны и уверяет нас, что ему будет теплее всех. Взяв на вооружение Самсоново хладнокровие, я даже не возмущаюсь, когда Юра в соответствии с тактическим планом заставляет нас, уже полусонных, пить разведенное сухое молоко.

Впятером в палатке чувствуем себя вроде шпротов. Спим по этой причине плохо.

Утром выпиваем жидкую манку и по навешенным перилам вылезаем на разрушенный балкончик. На первом «жандарме» складываем тур. Впереди еще шесть «жандармов». Вся эта канитель, вплоть до вершины, занимает у нас четыре часа. «Жандармы» проходим свободным лазанием, но кое-где для страховки забиваем крючья. В вершинном туре записка ленинградцев за 1976 год. Группа из общества «Труд» под руководством А. Гутмана совершила первое прохождение по западному гребню. Оценивают пройденный маршрут неуверенно: или пять А, или пять Б. Уже внизу, после восхождения, в таких случаях чаще сходятся на низшей категории. Зависеть — значит дать повод для насмешек следующим восходителям, среди которых обязательно найдутся критиканы. Лучше сделать серьезную пятерку А, чем слабую пять Б.

Вниз уходим по пути подъема. Для скорости дюльферем, последний спускается лазанием. Хотя я запасаю терпением, но все же ловлю себя на мысли, что Юра сильно действует мне на нервы. Постоянно переспрашивает: «Хорошо закреплены перила? Нагружать можно? Камень не вывалится? А крюк надежно забит?» Совсем как инструктор с новичками. И еще постоянно подбадривает, словно мы все находимся в безнадежной ситуации и упали духом: «Спокойно, ребята, спокойно. Вот так!» Вроде: «Не бойтесь, я с вами».

На перемычке Юра предлагает сделать еще одну ночевку — контрольный срок позволяет. Хан сдержанно, но решительно настаивает на спуске, то же самое говорят Самсон и Малышев. Погода пасмурная, холодная, камни не летят. Светлого времени для спуска вполне достаточно. Юра уступает. Связка Самсон и я спускается первой. Спуск требует особого напряжения. Крутизна, уходящая из-под ног, кажется вдвое круче. Страхуем друг друга через ледоруб. Вчерашние ступени во льду олазились на солнце и сильно подтаяли, вырубаем новые. Самсон страхует меня снизу. В этот момент по каске так ударяет камень, что голова гудит, как церковный колокол. Прихожу в нормальное состояние и думаю, что приложись этот залетный гость на ладонь пониже — быть транспортировке. Вообще-то у камней сегодня нелетная погода, и досаждают они не сильно. После скального островка, где мы, согласно плану, потребляли сахар, отпускаем вожжи и двигаемся быстрее, но по-прежнему со страховкой — склон еще слишком крут, чтобы пренебречь ею. На леднике Юра снова предлагает за-

ночевать. Похоже, что Хан и Малышев колеблются. Стараюсь помягче опровергнуть такой вариант. Самсон меня поддерживает. Светлого времени еще три часа, а до лагеря ходу на час меньше. Ушаков уступает. Забираю у него рацию, чтобы в двадцать часов выйти на связь. Связи с лагерем не будет, если мы не успеем выбраться из ущелья на дорогу — здесь мы как в мешке. Парни не спеша укладывают рюкзаки поудобнее, а мы с Самсоном бежим вниз. Верхний слой снега раскис, и ноги едут не хуже смазанных лыж. За какие-то десять секунд отдаем не меньше двадцати метров высоты. Дух захватывает!

Ко времени связи я успеваю выбежать на дорогу. Включаю рацию. В наушниках голос Ерофеева. Докладываю ему об успешном завершении восхождения. Моншер просит скорректировать местонахождение группы и, в частности, сидящего на передаче, то есть меня. Отвечаю:

— Группа в пятнадцати минутах ходьбы от дороги, я в сорока метрах от нее.

В наушниках раздается:

— А от рыжего бугра справа или слева?

Вначале до меня не доходит шутка, я еще под влиянием ушаковских команд и шутить не расположен. Хочу закончить связь, чтобы не забывать эфир болтовней, но слышу:

— Подожди, не выключай, что я тебе скажу!

Из-за камней с рацией в руках выходит Моншер. Меня разбирает хохот. Шеф послал Ерофея сюда для организации прямой связи с группой, а он заметил нас на спуске и затаился. Так что разговоривал я с ним на расстоянии звуковой слышимости. Эта выходка действует на меня как бальзам. После двухдневной ушаковщины Ерофей кажется самым милым человеком на земле, а мир становится прекрасным и удивительным. Подходят остальные.

В лагерь являемся засветло. Строем. Пока шли, пели, дурачась: «Путь далек у нас с тобою», переиначивая последние слова куплета на «Ушаков у нас в груди». Моншер, которому я вкратце поведал о наших злоключениях, поправлял:

— Не в груди, а в печенках.

У Юры капроновые нервы, он даже глазом не моргнул. Когда в лагере по моему ходатайству Моншер разжаловал его до фельдфебеля и пообещал наказать своей властью, «если еще раз поступит жалоба от масс», Юра стойко принял удар судьбы и ничем не выразил своих чувств.

В лагере непривычная пустота. Бугорок ушел на Медвежий для связи с Бастионом. Киселев, который вернулся с похорон брата, ушел с ним. Шеф уехал с попуткой в судейский лагерь. Но сиротами мы себя не чувствуем. Открываем баночку абрикосового сока, пьем чай, отдыхаем.

## НОВОСЕЛЬЯ

Рядом с нашими палатками вырос еще один тряпочный городок-мини — Томск-2. Здесь те же парни, которые встретились мне под Хрустальным. Беседу с ними пе-



ребивает сообщение белорусов. Их товарищу на спуске с Гека камнем рассекло камбаловидную мышцу (наверное, врач в группе, если такие профессионализмы), сейчас его спускают. Спасателей не нужно, одна группа, бывшая в том районе, уже пошла навстречу. Травма — это плохо, но мышца все же лучше, чем кость. Дайнога — не спина, залезать можно. Все же это первая серьезная травма за время наших сборов, поэтому настроение у всех мрачноватое.

Затемно приходит Шеф, потом Киса, за ним Бугор. Группа на Бастионе в двенадцать (!) дня встала на ночевку, так как стена после полудня лупит камнями немилосердно.

Ранним утром Жека с Киселевым опять уходят на Медвежий для связи с Бастионом. Мы с Ерофеевым готовим завтрак и потихоньку подкатываемся к Шефу насчет северной стены Равака. Коля бормочет что-то нечленораздельное и советует чище мыть посуду. К середине дня, подняв тучу пыли, к лагерю подъезжают два «Урала». Судя по литерам, машины военные. Ба, да это же ребята из САВО! Старые знакомые, с которыми мы, барнаульцы, ходили весь прошлый сезон! Оживленное приветствие, затем парни начинают разбивать лагерь. Устраиваются САВОшники, как всегда, основательно. Через час их армейские палатки и серебряные «памирки» стоят неподалеку от наших. По ходу благоустройства обмениваемся новостями с Валерой Шеповаловым (он же Сирота), Жорой Гульневым, Вовкой Несоленым (фамилия). Из Алма-Аты парни добирались сюда через Ош и Дараут-Курган. Цель — участие в первенстве Союза в высотнотехническом классе. Собираются сделать Комкадемию по новому маршруту со стороны ледника Федченко. Участие в «вооруженке» — задача номер два. Руководит всей организацией Витя Седельников, мастер-международник. Седельников ходит тут же, изредка отдает распоряжения. Это рыжий медвежастый молчун с кустистыми бровями, нависшими над щелками глаз. Говорит по крайней необходимости, но всегда по делу и в самую точку. Парни его уважают как товарища и как начальника — явление весьма и весьма редкое внизу, в городах, и почти повсеместно распространенное среди альпинистов. Седельников страстный и отличный фотограф. Его цветные фотографии я не раз встречал в спортивных журналах.

Вторая команда САВО под руководством их старшего тренера Ерванда Тихоновича Ильинского будет делать пик России по бастиону юго-восточной стены. Развехались они в Оше, а до этого сделали совместное восхождение на пик Ленина (7.134 м). Сирота впервые побывал на семитысячнике и, понимая, что меня гложет зависть, утешает:

— Ты ж был на шести тысячах? Ну и все! Кто на шести себя нормально чувствует, тот на семь спокойно заберется. Точно тебе говорю! Не веришь — спроси хоть кого.

Вслед за САВОшниками подъезжают одесситы вкупе с молдаванами. Среди них

тоже находятся старые товарищи, с которыми раньше приходилось делить место в палатке и пускать по кругу кружку с талой водой. Одесса-мама у нас задерживаться не хочет и уезжает к Дальнему. Расшаркиваемся на прощание с надеждой побывать в гостях друг у друга. Одесситы уехали, зато рядом с белорусами растянули дзе огромные белые палатки москвичи. Бугорок, бывший военный врач, определил наметанным глазом, что эти палатки — не что иное, как вкладыши от шатров полевого госпиталя.

Старшим у москвичей Валера Старлычанов, выходец из САВО, наш друг и товарищ по совместным восхождениям в прошлогодней экспедиции. Ерофей, узнав, что Старлычанов подполковник, пророчит черные времена Ушакову:

— Вот кто тебя вышkolит! Вот кому будешь по утрам рапортовать и сапоги чистить. А он тебя будет на горы строевым гонять.

Там, где недавно были лишь наши и белорусские палатки, сейчас шумит настоящий город. Кто-то замечает это во всеуслышание и предлагает названия улиц: Партизанская (белорусы), Столичная (москвичи), Сибирский проспект (мы), Недяников (томичи) и Кунаева (алмаатинцы). Поскольку лагерь САВО раскинулся шире всех, у них между столовой и складом продуктов нашлось место для площади Абая. Мэра города никто не выбирал, но так даже лучше.

## РАВАК

Ерофей и Жека все чаще вьются около Шефа. Они явно засиделись на подхвате и жаждут хорошей горы.

— Я вас что, не пускаю, что ли? Давно уже надо было компанию подобрать и снаряж подготовить.

Моншер и Бугорок обязательно войдут в группу, они заслужили, третьим берут меня. Предлагаю четвертым включить Самсона или Хана. Но Вовка намерен подлечить разбитые ноги, а Хан колеблется: мол, не отдохнул еще от предыдущих гор. У Моншера сразу зарождается сомнение насчет его альпинистского облика. Он подходит ко мне и спрашивает:

— Савва, что Хан за человек на горе?

— Вполне нормальный парень.

— А почему он не хочет идти? У нас такого не было, чтоб — вот она, гора, а идти некому! Не-ет, тут что-то не так!

Через пять минут Хан дает согласие, но Моншер, оскорбленный его первоначальным отказом, считает своим долгом вставить шпильку:

— Мы вообще-то можем и втроем сходить, дайте только двух наблюдателей.

Хан с усмешкой проглатывает пилюлю и подтверждает готовность идти на стену.

С утра пропитываем ботинки и комплектуем снаряжение. Руководить будет Жека. На соседнюю с Раваком Шаугаду собрались идти в двойке Киселев и Самсонов. Кисе нужна акклиматизация, и Самсон ради этого жертвует своими потертыми ногами. Маршрут на Шаугаду — пять А,

не слишком сложный. Попутно они хотят детально осмотреть правую часть стены Равака в профиль, которую можно заявить в техническом классе.

После обеда судейский «ГАЗ» отправляется вниз. Нам по пути. Еще в машину забираются четверо ленинградцев, они идут на пик 5.324 по гутмановскому маршруту. Ущелье будет населенным. Вчера на Равак по «нашему» маршруту вышла группа уральцев. Эдик Брегман со своими ребятами делает первопроход на пик Череповец — гору в этом же районе. Завтра ребята из САВО соберутся выйти на первопрохождение по западному гребню Равака. Просто тьма народу!

Поднимаемся на грязный снежник, перекрывший собою реку на дне ущелья. Иногда ущелье делает поворот, и мы оказываемся в тени. В таких местах отдыхаем на ходу. Такие подходы я люблю. Можно думать о многом, просто вспоминать что-нибудь в зависимости от строения.

Не замечаю, как подходим к морене. Морена здесь мелкая и укрывает ледник, как ровное одеяло. Маршрут отсюда виден в неполный профиль. Осматриваем стену с головы до ног, ищем на ней уральцев, но без бинокля на фоне скал их не различить. Левее пика 5.342 доносятся слабые голоса. Это белорусы. Уходим по леднику вправо. Чтобы приблизиться к самой стене, надо пройти крутой ледопад. Решаем встать на ночевку до ледопада. Выбираем место наиболее защищенное от ветра и принимаемся выкладывать каменный фундамент для палатки. Работается весело. У Ерофея в руках появляется кастрюля с водой — будет чай. Это кстати, так как воздух скорее холодный, чем свежий. Таджики говорят: «Жарко вету». Мы повторяем эту фразу на все лады, лосматривая на шаугадинскую двойку, которая проигнорировала «грошевой брезентовый уют» и не взяла с собой палатку. Теперь они выкладывают ветрозащитную стенку из больших камней. Мы приглашаем их ночевать к себе, но Киселев, презрительно сверкнув зубом из «нержавейки», отвечает:

— Задыхайтесь в своем гробу сами, а мы здесь, как на курорте.

На ужин у нас отварная баранья печенка, которую Сирота по старой дружбе вручил еще в лагере. Приглашаем Самсона и Толика, но в ответ раздаются небрежный киселевский фырк. Они в своем логове рубают холодную тушенку, запивая ее чаем.

Утром по ледопаду выбираемся на широкое ледяное плато. Маршрут просмотрен еще вчера с места ночевки, и теперь мы хорошо представляем, куда идти.

Движемся попеременно — круто. Жека впереди, долбит ступени в твердом фирне. Вот он осторожно перелезает снежный козырек и скрывается за ним, значит склон дальше выполаживается. Веревка медленно, но непрерывно уходит вверх из рук страхующего.

— Два метра! — кричит Хан.

Сверху доносится что-то громкое, хриплое и невнятное. Потом различаем слово «надвяжи». Надвязываем вторую веревку. Постепенно уходит и она.

— Веревка вся! — опять кричит Хан.

Но Жека тянет ее, не слыша команды. Сколько ему там не хватает? Конец привязан ко мне, и я забираюсь как можно выше. Здесь лед. Вырубаю лохань, чтобы удобнее встать. Минут через пять ветер доносит: «Перила готовы-ы!» Ерофей и Хан по очереди уходят наверх. Потом иду я. Неприятная это штука — восьмидесятиметровые перила. Веревка сильно вытягивается, пружинит, рукам нет отдыха. Перила закреплены у подножия скального островка. Островок проходим быстро. После него сворачиваем направо под основание «первого треугольника». Вблизи его треугольником не назовешь, а издала он действительно напоминает что-то похожее.

Сначала лазание не ахти какое, потом стена начинает постепенно «падать» на нас. Идем с крючьями, остерегаясь находиться друг под другом — сверху может сыпаться. Последние пять метров стенки проходит Жека. Выбирается наверх и видит перед собой серповидный ледовый гребень, ведущий к следующей стенке. Зря он не надел кошек. Теперь одну за одной рубит ступени. «Серп» с одной стороны сверкает глянцевым льдом, другая сплошь состоит из рыхлого, водянистого снега.

Для правой ноги Жека рубит ступень, а левая проваливается в снег так, что хоть верхом садись на кромку. Иду по перилам замысловатой скособоченной присядкой.

Меняю Жеку. Парни четко работают на перилах: проходит быстро и аккуратно, нет путаницы с веревками. Из шести веревок две очень неплохие, рабочие. Позади второй «треугольник». Наверху слышу голоса. Это уральцы, вышедшие на сутки раньше нас. Значит догоняем. Судя по интонации и звучанию, отдаются деловые команды. Стало быть, у них все в порядке.

В три часа делаем на ходу перекус колбасой и печеным. Голоса сверху все слышнее. Наконец веревках в шести-семи над нами показались разноцветные пуховки. Шевелятся, но стоят на месте. Видимо, кто-то впереди работает на сложном участке. На консультации нас предупредили, что ключевой участок находится в верхней части третьего «треугольника», именно там, где сейчас находится группа УрВО. Сверху вдруг летят камни! Даже среди белого дня видны искры, которые они высекают из скал. Мимо! Орем вверх, чтобы поосторожнее работали, но в ответ снова грохот. Чтобы быть в безопасности, сворачиваем влево. Рельеф меняется. Появляются участки со снегом, короткие обледенелые стенки. Одну такую стенку проходит Моншер по Жекиному указанию, хотя идти на нее нужды не было. Она оказалась Бугорку легче других, включая и ту, на которую надо было лезть. В результате мы забрались в мокрый и гадкий кулуар. Гадкий тем, что на протяжении десятка метров его дно и стенки состоят из свободной лежащей черепицы, которая ползет под ногами и тащит за собою вниз.

Да и выход из кулуара далеко не подарок: левая стенка его сменяется обрывом, и черепица вместе со мной ползет туда. Потеряли на этом участке минут сорок. Подвело Бугорка его любимое выражение: «А вот тут в обход можно». Дай ему волю, он всю гору обойдет и с другой стороны залезет.

Кое-как выбравшись из кулуара, снова видим уральцев. Что-то долго ребята стоят на одном месте. Но уже не трое, а один. Еще один пристегивается к перильной веревке, уходящей за перегиб вправо. Значит, ключ они прошли. Шеф говорил, что их команда сильная, но, наверное, и участок тяжеленький.

К семи часам обнаружили удобную площадку для сидячей ночевки. Парни начинают устраиваться, а я прошу Жеку подстраховать меня и лезу навешивать перила, чтобы утром сразу идти вверх. Эта веревка, по-видимому, тоже одна из ключевых. В трех местах так и манит повесить лесенку, но обхожусь руками и ногами. Крючья не годятся — слишком широкие трещины. Хорошо, что есть закладухи. Через полверевки влезаю во внутренний узел. Его сходящиеся стенки обильно залиты проклятым всеми альпинистами мира натечным льдом. На последней трети веревки почти тыкаюсь каской в «пробку» — камень, заклиненный между щеками угла. Опять появляется желание повесить лесенку и обойти «пробку» слева, но я гоню эту мысль. Самое трудное — это переход от искусственного лазания к свободному: без всяких лесенок, платформ, зайльцугов. На искусственной точке опоры чувствуешь себя уверенно, и эта уверенность сразу улетучивается, когда возникает необходимость идти дальше чистым лазанием. Поэтому лучше не расслабляться, тем более, что место проходимо, надо только поднатужиться.

...Подбираю ноги повыше и тихонько шатаю «пробку» рукой. Она слегка шевелится. Если вырвется из меня и собьет, то я повисну на закладухе в метре ниже. Только бы не раздавило камнем. Осторожно нагружаю «пробку» и убеждаюсь, что она хоть и шевелится, но сидит крепко. Мягко выхожу на нее и сразу же убираю с нее ноги. Все! Лесенка не пригодилась. Еще через пять метров выбираюсь на двухступенчатую неровную площадку, более удобную для ночевки, чем та, внизу. Загоняю по головку два крюка, вешаю перила и кричу ребятам, чтобы поднимались сюда. Пока подходит первый, осматриваю место. Полка — название чисто условное, но для ночевки она вполне подходит. Прямо надо мной висит крутяк метров в шестьдесят ростом. Порода дряблая, но не сыплет. Сколько я ни шарю по ней глазами, не нахожу ни малейшего участка монолита. Шлямбуры здесь не пойдут, да и нет их у нас. По всему фронту стены тонкими нитками сбегают ручейки. Вода и сделала стену непригодной для лазания. Очевидно, наверху есть снежная шапка, которая постоянно тает. В том, что нас здесь ночью не прихлопнет, я уверен: стена большей частью покрыта застарелой оранжевой коркой соли, напоминающей

ржавчину. Слева стену ограничивает глубокий провал метров пятнадцать шириною, похожий на огромных размеров камин. Преодолеть его — слишком трудоемкое и небезопасное дело. Смотрю вправо. Справа стена очерчена ажурным острым гребешком. По нему можно попробовать выйти, но что-то уж слишком криво он расположен в пространстве. В двух местах должно сильно отбрасывать. Узкая ровная площадка вдоль основания стены обрывается в тартарары. На ней видны отчетливые следы триконой и галаш. Ага, здесь, наверно, и топтался полдня уральцы! Вижу в расщелине две конфетные обертки, еще в одной — баночку из-под сгущенки, наполненную водой.

Отдуваясь, вылезает по перилам Жека. Рассуждаем о завтрашнем дне, о выборе маршрута. Жека как руководитель полагается на меня — мне идти первым, мне и выбирать. Появляется взмыленный Моншер и начинает выбирать Хана. Хан сегодня работал как первоцелинник. Любому альпинисту известно, какая порой катастрофическая работа у последнего. Иногда выбивать крючья приходится в таких местах, что надо обладать поистине акробатической сноровкой, чтобы выдернуть крюк из трещины.

Время связи. Жека вынимает рацию, Ерофеев и Хан обсуждают меню на ужин, а я закрепляю горизонтальные перила, за которые прицеплено все, что может улететь.

Вкусный горячий ужин, крепкий чай, пара анекдотов снимают накопившуюся за день усталость. Окончательно ее снимет только сон. Пытаемся устроиться с максимальным удобством. Вынимаю из рюкзака штормовку и запасные носки, снимаю «фонари» и все это подкладываю под себя. Влезаю в спальник и поверх него натягиваю на ноги рюкзак, застрахованный внахлест репшнуром. Все четверо свили себе по индивидуальному гнезду. Сидим, запеленатые в спальники, словно коконы.

Ночь обещает быть теплой, и это плохо. У нас у всех «пух», мы и так не замерзнем, а вот капать, наверное, не перестанет, если ночью не подморозит. С разрывом в десять-двенадцать секунд по моей каске ударяет звонкая капля. Уклониться от нее нет возможности, и я достаю из-под себя штормовку и накидываю ее, чтобы не вымок спальный мешок. Пока сидишь недолго, место кажется удобным. Потом я ощущаю левым боком острый выступ, затем устают ноги. Застрахованный рюкзак сдерживает и не дает вытянуть их во всю длину. Неприятная поза, но лучшую не примешь. Чтобы ноги полностью распрямились, не хватает самой малости, а репшнур удлинить нельзя. Сплювываю с досады в пропасть, над которой они болтаются. Ступни постепенно затекают, и я встряхиваюсь, чтобы посушить по-паучьи ногами и разогнать кровь. Каждый раз, проснувшись, я отмечаю, что капать не перестает. К утру штормовка промокает окончательно, спальник тоже.

Жизнь на нашем биваке возобновляется с первым лучом солнца. Проснувшись, первым делом разминаемся — тело само

просит этого. Разглядываю получше стену. Корка соли на ней тускло искрится в лучах утреннего солнца. Смотреть на нее, конечно, красиво, но здесь не выставочный зал. Правый гребень стены с того места, где я нахожусь, напоминает петушиний гребень. Мысленно пытаюсь проследить путь по нему, но через треть веревки этот путь обрывается. Около четырех метров тянется откидывающая монолитная плита. Сколько я ни вглядываюсь, зацепок или трещин для крючков не нахожу — все гладко. Жека задирает голову и тоже смотрит, потом говорит:

— А что? Давай, Савва!

Пока Ерофей готовит чай, я делаю первую попытку выйти на грешешок. Пройдя метра четыре, опускаюсь осторожно назад.

Бугор вопросительно и тревожно смотрит на меня.

Теперь я пробую уйти вправо по узкой полочке. Дойдя до места, где она обрывается, вижу слева, под «петушиным гребнем», внутренний угол, косой ломаной линией уходящий вверх влево. Вот здесь и пойдем. Забываю первый крюк и вешаю на него лесенку. Без нее в угол не войти, он обрывается выше и правее полочки, на которой я нахожусь. Возвращаюсь к ребятам и рассказываю им об увиденном. Больше всего тревожит вопрос: хватит ли веревки? А вдруг она кончится раньше, чем я выйду из угла. Надвязать — не проблема, но тогда узел не пройдет через карабины. Может быть, именно по этой причине уральцы сидели здесь с восьмью утра до пяти вечера? Но шестидесяток у нас нет, а идти все равно надо. Позавтракав, я тщательно выправляю молотком все крючья, вынимаю из рюкзака запасные. Прилаживаю под резинку аноракки две лесенки: одну спереди, вторую сзади. Обойму закладку укладываю по ранжиру в нагрудный карман. Развешиваю поудобнее на себе все железо. Теперь я словно в латах, каждое движение сопровождается звоном и бряцанием. Хотя снаряж весь титановый, но весит прилично. Рюкзак и ледоруб оставляю ребятам, потом вытянем.

Не без волнения делаю первые шаги по скале. Знакомое ощущение неизвестности впереди. Волнение, суетность и слабая дрожь в членах проходят очень быстро, а именно — с началом серьезной скальной работы. А работа начинается сразу, как только нога встала на ступеньку лесенки. Уилфрид Нойс как-то мимоходом назвал лазание по трудным скалам «физической музыкой». Сейчас, когда я в немислимой позе стараюсь забить очередной крюк, это сравнение кажется мне неправдоподобным. Левая нога в лесенке, правая висит в пустоте — для нее нет опоры; два пальца левой руки до половины заклинены в щель; скала толкает тело в бездну; пот заливал глаза; сверху серой струйкой прямо в лицо сыплется мелкая пыль. Какая тут музыка! Метров через пять «петушиний гребень» совсем выживает меня из угла, а вторая стеночка угла уменьшается до ширины трех ладоней. Хорошо, что трещины сплошь и рядом.

Стараюсь не бить крючья, а использовать закладку — иначе не протянешь веревку. Закладку я сразу выдергиваю, как только найду место для следующей. Веревку протягивать уже трудно. Кричу ребятам, чтобы они выстегнули ее из первых двух карабинов, но парни не слышат — перегиб. Минуты три рвем глотки, наконец чувствую, что веревка идет свободно.

Метров двадцать лазание очень сложное, затем угол чуть поворачивает влево и становится немного удобнее, хотя и не выполаживается. Еще десять метров — пробка! Не совсем обычная. Был небольшой карнизик, но трещина отделила его от скалы, и остался он так висеть: камень не камень, карниз не карниз. Без того руки едва не сводит судорогой, а тут еще она на пути! Я обладваю всех святых нехорошими словами и делаю героическое усилие выйти на карниз в упор. Верх пробки покатый, руки соскальзывают. Слева не обойти — нависает гладкий монолит, справа все та же пропасть. Как назло: до этого трещины были одна на другой, а тут — широм покати! Внутренний угол в этом месте винтом поворачивает влево, и путь через карниз «в лоб» — единственный. Чуть приспускаюсь вниз и, держась за петлю закладку, поочередно даю рукам отдохнуть. Смотрю на них: исцарапанные, вымазанные в крови, пальцы сплошь в ссадинах. Пока я полз сюда, в трех или четырех местах встречал размазанную по скале кровь. Уральцы тоже трудно шли.

Отдохнув немного, опять делаю попытку пройти «в лоб». Упереть бы во что правую ногу, как бы хорошо я вышел, но некуда. Тянусь к трещине, отрезавшей карниз от скалы. Края ее гладкие, и пальцы не держат. На всякий случай у меня в руке маленькая закладушка с тросиком. Еето я и запроваляю в трещину. Пока я на ощупь проделываю эту манипуляцию, левая рука совсем отказывается держать зацепку. Опять спускаюсь к лесинке и отдыхаю (если это можно назвать отдыхом). Снизу что-то орут, видимо, обеспокоены движением веревки вверх-вниз. Не отвечаю, так как все равно не расслышат. Снова поднимаюсь под карниз и нашариваю тросик. Карабин прощелкнул! Можно вздохнуть свободно. Теперь выхожу наверх без особого труда. Угол кончился, дальше несложные скалы. А вон и площадка. Выбираю на нее. Она в полметра шириной и совершенно горизонтальная. Такой простор и удобство вызывают у меня буйную радость и тихое умиление одновременно. Поджидая следующего, я прохаживаюсь по ней метр вперед, метр назад и во все горло пою «на тихом берегу Иртыша...». Парни меня все равно не слышат и слова песни с командой не спускают. Веревка равномерно подергивается, значит, по перилам идут. Через двадцать минут появляется свекольного цвета лицо Бугра. Он передает мне вторую веревку и долго восстанавливает дыхание. Второй веревкой будем тащить рюкзак. Сразу же начинаем это делать. Рюкзак постоянно зацепляется, и нам приходится наугад раскачивать его, ослаблять и натягивать ве-

ревку, пока он не минует препятствие. Работа эта очень трудоемкая, гораздо труднее, чем перетягивание каната. Наконец рюкзаки переваливает через карниз, и мы оба в изнеможении прислоняемся потными лбами к холодной скале.

Появляется Ерофей, затем все вместе вытягиваем многострадального Хана. Он опять идет последним, впрочем, нисколько не ропщет. Смотрим на часы: первый прошел участок за сорок две минуты, вся группа в целом — за два часа! Отлично! Просто здорово!

В приподнятом настроении уходим вверх. После такой корячки гора нам преподносит несколько приятных сюрпризов, словно в награду за мучения: выполаживание, легкое движение по снегу и сплошь и рядом красивые места. Перед одним гротом мы даже останавливаемся. Вход в грот занавешен частоколом сосулек метра в четыре длиной.

— Как китовая пасть, — восхищается Жека.

— А у вас в Красногорском и киты водятся? — тут же поддевает Моншер. Бугор не знает, что ответить. Глядя на него, мы хохочем. Жека смотрит на нас, приоткрыв рот, а когда мы замолкаем, он низко и коротко «гыгыкает». Снова от души смеется. Это лишь повод для веселья, а вообще у нас радостно на душе оттого, что самая тяжелая часть стены позади, что день солнечный, что все пока складывается удачно. Короткие минуты смеха на маршруте для альпиниста — что подзарядка для аккумулятора.

До вершины не так уж далеко — вот он, крутой ледовый взлет, обрезанный сверху Л-образным снежным карнизом. Выходить на лед под карниз — искать приключений. Мы выбираем обледенелый кулуарчик, который должен вывести на предвершинное плечо. Вмерзшие в лед камни облегчают движение. Кулуар градусов пятьдесят, не больше, но заграждать здесь можно шикарно. Ледок сразу поддаст такую скорость, что все попытки задержаться превратятся в бесполезную затею. Будешь кувыркаться, покуда хватит веревки. По несчастью мне повеселилось однажды наблюдать такую картину. Человек в считанные секунды «отдал» семьсот метров высоты. Правда, кончилась эта история вполне благополучно. Внизу он отряхнулся от снега и направился к морене поджидать, когда мы спустимся. Но таких невероятных случаев история мирового альпинизма насчитывает единицы и уповать на них не стоит. Поэтому мы не забываем о страховке и не ставим ногу куда попало.

Выход на плечо занял шесть веревок. С плеча мы сразу заметили спускающуюся группу УрВО. Они решили отходить через Дустирозское ущелье. Вспоминаю наш отход с Хрустального — бр-р-р! Машем им, поздравляем с горой. Ниже нас по гребню веревках в шести-семи показалась еще одна группа. Это САВОшники, первопроходцы. Пытаемся выяснить, почему у них не достает двух человек, но мешает эхо. Слова как будто разбиваются о морозный воздух. Плюем на все эти по-

пытки, будет связь — узнаем. Совершенно очевидно одно: помощи ребятам не требуется. Обсуждаем вопрос: ночевать здесь или идти на вершину? Моншер и Хан за «здесь», Бугор и я — за «вершину». Решаем так: мы с Жекой идем наверх, сменим записку и посмотрим место, а парни вскипятят чай. Палатку пока не ставить.

Спасибо уральцам, набили в снегу ступеней. Вылезаем к вершинному туру, когда солнце уже почти касается дальней гряды гор. Быстро меняем записку и осматриваемся.

— Жека, — говорю я, — смотри, это же Белая Пирамида!

— Ну и что? — отвечает Бугор. — Гора как гора, красивая разве что.

Я совсем забыл, что Бугорок не был с нами в той разведке, когда мы искали подходящие стены для скального класса. Объясняю ему, что ледник, который под нами, впадает в ущелье Белой Пирамиды, а там тропа до самой дороги, ведущей к лагерю. До ледника спуск хорошо виден — легкий. Бугор растирает замерзший подбородок и усиленно размышляет.

— Жекушка, — говорю я, — топать через Дустироз — это опять ночевать на «коровьем перевале», плюс придесть на чужих ногах. Там ужас, а не тропа!

— А ты точно помнишь, что там тропа? — сомневается Бугор.

Я бью себя в грудь и делаю возмущенную физиономию.

— Ладно, — говорит Бугор, — пошли за остальными.

«Остальные», то есть Хан и Моншер, не горят желанием подниматься вверх и даже упираются, приводя кучу доводов в пользу ночевки на плече. Мол, вода уже согрелась, да и куда на ночь глядя, а вдруг спускаться не туда, ведь уральцы вон где пошли — и так далее. Бугор вспоминает, что он руководитель, и зычно отдает приказ: «Всем идти наверх!» Ерофей язвит по привычке: «Дурная голова ногам покою не дает». Дисциплинированный Хан обиженно сопит.

Место для палатки вырубает во льду и утаптываем для мягкости снегом. Ночуем в двух шагах от вершины. Когда розовая полоска на западе окончательно тускнеет, мы уже лежим в спальниках.

Встаем рано. Завтракаем чаем и холодными консервами... Наш спуск раза в два короче дустирозского варианта, но кто знает, что может задержать на пути к тропе. На леднике могут быть запутанные лабиринты трещин, выход из ущелья на тропу неизвестно что из себя представляет, да мало ли что.

До ледника съезжаем глассером. Три точки опоры: ноги и штычок ледоруба. Трещин почти нет, а если и встречаются, то небольшие. Через час у нас возникают сомнения относительно пути отхода и появляется недоверие к нему: не может быть, чтобы все было гладко. Но ледник ровный, как проспект, выход из ущелья прекрасный. Странно!. До того привыкли ко всяким каверзам и ловушкам, что просто не верится.

*Окончание следует.*

Л. МАЗУР,  
директор Черниговской государственной  
областной научной библиотеки имени  
В. Г. Короленко

## Наследники Михаила Ефремова

Вот как все это начиналось. В августе 1939 года на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке группа колхозников-черниговцев встретилась со знатными хлеборобами Алтая.

Руководителя делегации Малодевицкого района Черниговской области председателя колхоза «Десятиріччя Жовтня» («Десятилетие Октября») Дениса Моисеевича Панченко поразили высокие урожаи зерновых, достигнутые звеньями земледельцев-ефремовцев в суровых условиях Сибири. А сибирского полевода-новатора Михаила Ерофеевича Ефремова заинтересовали достижения малодевичан в развитии племенного животноводства и особенно в повышении удойности коров симментальской породы.

Вот как о том писал в своем московском репортаже спецкор черниговской областной газеты «Більшовик» писатель Михаил Хазан:

«Денис Моисеевич стоял очарованный золотой, тучной нивой. Он, родившийся под копной, всю жизнь провел в поле, но таких замечательных хлебов никогда не видел... Гладил рукой жесткую гриву дивопшеницы, щупал тугие, тяжелые колосья. И даже забыл, что стоит не среди хлебной степи, а на сколице Москвы, в выставочном павильоне Алтайского края.

Он приехал сюда как передовик из колхоза, выращившего в 1938 году по 105 пудов зерна с гектара, и считал, что это немалый урожай. А теперь, удивленный и смущенный, лобуетя нивой, дающей по 400—500 пудов отменного зерна с гектара... Захотелось ему увидеться с прославленным Ефремовым, побеседовать с ним, посоветоваться. И очень обрадовался, когда узнал, что это вполне осуществимо, что уже вечером малодевицкая делегация может встретиться с делегацией Белоглазовского района, в составе которой и депутат Верховного Совета РСФСР Михаил Ефремов, и его ближайший помощник опытный хлебороб Иван Чуманов, и другие земледельцы-ефремовцы...

Алтай и Чернигов. Тысячи километров разделяют берега голубого Чарыша и украинское Придесенье. Но между советскими людьми не существует отдаленности. Первая же встреча незнакомых людей вскоре перешла в задушевную беседу.

Расселись рядышком на зеленой лужайке алтайцы и черниговцы и повели дружеский, деловой разговор о жизни и труде, о хозяйственном опыте и будущности родных колхозов...

Эту слишком пространную цитату заканчиваю концовкой упомянутого репортажа:

«Мысли всех присутствующих выразил зачинатель ефремовского движения Михаил Ефремов:

— Давайте посоревнуемся, товарищи! Мы вас по зерну подтянем, а вы нас — по животноводству. Большая это сила — социальное соревнование! Давайте же, соревнуясь, так работать, чтобы через год снова встретиться здесь, в столице нашей Родины, на этой прекрасной выставке...»

Обсудив проект договора о социальном соревновании колхозов и районов, тут же его подписали. От Белоглазовского района первым подпись поставил Михаил Ефремов, от Малодевицкого — Денис Панченко.

Общественность обоих районов одобрительно встретила весть о начавшемся соревновании, о производственном содружестве хлеборобов Алтая и Черниговщины. Выполняя взятые обязательства, хорошо поработали труженики полей Белоглазовского района, еще глубже внедрились ефремовскую технологию хлебопашества, расширили программу и масштабы деятельности «Школ всестороннего развития колхозного производства». Там, в частности, изучался и опыт животноводов Черниговщины.

Больших успехов, благодаря применению ефремовского перекрестного метода сева, достигли колхозы Малодевицкого района. В 1940 году вновь стал участником и дипломантом сельскохозяйственной выставки колхоз «Десятиріччя Жовтня». В Москве Денису Моисеевичу Панченко вручили орден «Знак Почета». И вновь встретились товарищи по хлеборобскому соревнованию. Вместе с белоглазовцами Денис Моисеевич поехал на далекий Алтай. Воочию убедился в том, как хорошо поставлена там работа школ колхозного всеобуча на базе изб-читален и изб-лабораторий, как действительно влияет учеба на организацию труда в колхозах, на его результативность. Панченко

пригласил друзей-белоглазовцев посетить его колхоз, проверить выполнение договора о соцсоревновании, поделиться опытом. В конце 1940 года делегация Белоглазовского района, возглавляемая Михаилом Ерофеевичем Ефремовым, прибыла на Черниговщину. В состав делегации входили также И. Чуманов, А. Стуров, В. Баздырев, К. Зеленский, В. Блинов.

Хлебом-солью встретили посланцев Алтая жители самого молодого в области села Жовтнева, труженики местного колхоза «Десятиріччя Жовтня». Как братья обнялись и расцеловались Денис Панченко с Михаилом Ефремовым, Иваном Чумановым, Алексеем Стуровым.

«Перед началом колхозного собрания, — писала областная газета «Більшовик», — музыканты заиграли в клубе гопака. Сначала нерешительно, а дальше все смелей заплясали парни и девушки. Но вот в круг танцующих вошел седоусый крепыш:

— А ну, музыканты, веселее!

И пошел выделывать такие коленца, что присутствующие заулыбались, заохали от восхищения.

— Что это за старичок?

— Кто такой, откуда?

— Дак это же наш гость, алтайский земледелец-опытник Чуманов, первый соратник Ефремова.

Расширился веселый круг. Охотников посоревноваться с плясуном-сибиряком нашлось много. И пошло «соревнование», и завихрился азартный перепляс украинцев и алтайцев...

После теплых торжеств, посвященных дружбе соревнующихся колхозов и районов, началась деловая проверка выполнения обязательств. За три дня гости посетили почти все колхозы. И в амбарах, и на фермах побывали, и агрономическую, зоотехническую службу проверили. Все их интересовало: количество ефремовских звеньев, качество семенного материала, заготовка и сохраняемость местных удобрений, состояние сельхозмашин, ремонт и строительство животноводческих помещений, планирование и методика селекционно-племенной работы, рационы кормления животных, распорядок рабочего дня.

Свои впечатления, критические замечания и советы белоглазовцы высказали в присутствии первого секретаря обкома партии т. Федорова на совещании партийно-хозяйственного актива Малодевицкого района, а затем изложили их на страницах областных газет.

В статье «Наши пожелания» («Більшовик», 1941, 7 января) делегация белоглазовцев с удовлетворением отметила, что при среднерайонном урожае зерновых 16,3 центнера с гектара в 1940 году на 1809 гектарах, где был выполнен комплекс ефремовских агроприемов, собрано было по 26,6 центнеров. Для урожая 1941 года в районе перекрестным способом озимые уже были посеяны на 2980 гектарах. И что самое примечательное, опыт ефремовских звеньев вышел за пределы района. По примеру малодевичан последователи Ефремова к концу 1940 года создали на Черниговщине больше двух тысяч звеньев, борющихся за двухсотпудовые урожаи,

Ефремовские нивы заняли в области около 50 тысяч гектаров. Не обошли молчаливо белоглазовцы и недостатки, остро критиковали малодевичан за беспорядок, антисанитарию на фермах, за некачественный ремонт коровников, конюшен. Еще большей критике подвергли сибиряки нерадивых хозяйственников, которые во многих колхозах не выполнили плана заготовки местных удобрений и очистки семенного материала, не провели снегозадержания. В районе гости обнаружили только одну избу-лабораторию и были удручены тем, что здесь не функционируют «Школы всестороннего развития колхозного производства».

Авторы упомянутой статьи «Наши пожелания» не только призвали черниговцев создавать школы изучения основ сельскохозяйственной науки и передового сельскохозяйственного опыта, но и помогли малодевицкому колхозу имени Чапаева наладить работу избу-лаборатории, составить программу занятий «Школы всестороннего развития колхозного производства». Член делегации алтайцев В. Блинов в статье об опыте бобровской избы-читальни Шипуновского района подробно, доходчиво в газете «Більшовик» рассказал о методике организации массовой осенне-зимней учебы колхозников. На смену агрокружкам и ефремовским школам, где изучалось только полеводство, в Алтайский край пришла четко действующая сеть школ всестороннего обучения тружеников деревни.

«Бобровская изба-читальня, — писал т. Блинов, — превратилась в центр не только массовой учебы и пропаганды опыта Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, но и стала центром культурно-просветительной и оборонной работы. Трудно переоценить значение деятельности бобровской избы-читальни для развития родного колхоза и повышения культуры колхозного села. Вот поэтому этот прекрасный почин нашел активный отклик и в Сибири, и по всей стране. Теперь, мы уверены, утвердится и на Черниговщине».

Действительно, поддержанный газетой «Правда» опыт создания колхозных учебных центров, опыт борьбы алтайцев за высокую отдачу пахотного гектара — все это, как зерно в богатой почве, взошло, укоренилось, дало отличные всходы на черниговской земле. С интересом и одобрением трудящиеся Черниговщины встретили опубликованное в областных газетах «Більшовик» и «Молодій комунар» 29 декабря 1940 года «Обращение общего Собрания тружеников колхоза «Десятиріччя Жовтня» Малодевицкого района ко всем колхозникам и специалистам сельского хозяйства области», в котором, в частности, говорилось: «Добьемся того, чтобы не было у нас ни одного отстающего колхоза! Широко развертывая движение и социалистическое соревнование за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, глубоко внедряя опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, выведем Черниговщину в ряд передовых областей Советского Союза!»

После веселого нового года в кругу дру-

зей-колхозников с. Жовтнева белоглазовская делегация отбыла в Чернигов, где 3 января 1941 года приняла участие в областном совещании руководителей районов, заведующих райземотделами и главных специалистов райземотделов и МТС. Совещание заслушало доклад заведующего областным отделом т. Львова об итогах сельскохозяйственного года и о состоянии подготовки к весеннему севу. В обсуждении доклада приняли участие депутат Верховного Совета РСФСР т. Ефремов, заведующий избой-лабораторией колхоза «Молодая гвардия» т. Чуманов, секретари обкома КП(б)У тт. Федоров, Попудренко, Петрик и председатель облисполкома Костюченко.

Участники совещания единогласно поддержали предложение о социалистическом соревновании Черниговской области с Алтайским краем.

Вечером того же дня договор о социальном соревновании был подписан.

Несомненно, общение соревнующихся земледельцев Придесенья и Алтая положительно сказалось бы на развитии экономики и культуры в этих административных регионах. Летом 1941 года чудесный, невиданный дотеле урожай вызревал на обработанных по-ефремовски полях колхоза «Десятиріччя Жовтня».

Денис Моисеевич Панченко в это время учился в республиканской школе партийно-советских кадров. Приезжая из Киева в родное село, вместе с односельчанином, бывшим председателем Жовтневого сельсовета, избранным секретарем Малодевицкого райкома КП(б)У Семеном Степановичем Степаненко и новым председателем колхоза Яковом Михайловичем Дебеленко объезжали поля, любовались тучными, созревающими хлебами, советовались, как бы побыстрее и качественней провести жатву и без потерь собрать богатый урожай.

Но не пришлось им радоваться высоким урожаям. Кровавую жатву на черниговских полях провела война. Все трое — ровесники, коммунисты — Денис, Семен и Яков — были оставлены для подпольной работы на временно оккупированной территории и как герои погибли в застенках гестапо.

Мужественные черниговцы не покорились врагу. Били фашистов и на фронтах, и в глубоко вражеском тылу. Народное сопротивление оккупантам возглавили те, кто в довоенные времена организовывал борьбу хлеборобов за двухсотпудовые урожаи. Для организации партизанского движения на Черниговщине остались почти все члены бюро обкома КП(б)У, секретари райкомов партии, ведущие специалисты облземотдела. Многие из них прославились в партизанской войне. Героем Советского Союза стал командир Черниговского партизанского соединения секретарь подпольного обкома партии Николай Никитич Попудренко. Он погиб в бою во время прорыва из окружения. Его имя присвоено партизанскому соединению. Двумя Золотыми Звездами и семью орденами Ленина отмечены боевые и трудовые заслуги перед Родиной бывшего до-

военного первого секретаря Черниговского обкома КП(б)У, а в годы войны первого секретаря подпольных Черниговского и Волынского обкомов партии Алексея Федоровича Федорова, который создал крупнейшее на Украине рейдовое партизанское соединение.

Комиссаром партизанского отряда стал бывший заведующий облземотделом Николай Иосифович Львов. В послевоенные годы он долгое время работал в Министерстве сельского хозяйства СССР.

Смертью героя погиб в жестоком бою с карательным батальоном бывший главный инспектор по сортоиспытанию, талантливый ученый-селекционер Сидор Романович Громенко.

Политруком взвода, а потом роты в партизанском соединении А. Ф. Федорова прошел все боевые рейды четырежды орденоносец Александр Васильевич Суворов, который и до и после войны руководил областным управлением мелиорации. Ему присвоено звание «Заслуженный мелиоратор УССР».

Этот список можно бы продолжить, ведь не десятки, а сотни, тысячи труженников земли, довоенных ефремовцев, сменив плуг на винтовку и пулемет, вышли навстречу врагу, многие отдали свою жизнь в борьбе за великую Победу.

С первых дней освобождения Черниговщины труженники города и села начали самоотверженную борьбу за восстановление уничтоженных врагом фабрик и заводов, колхозов и совхозов. И здесь, в первых рядах участников трудовой битвы, видим малодевицких земледельцев. Продолжая дело фундаторов колхоза «Десятиріччя Жовтня», используя их опыт выращивания высоких ефремовских урожаев, развивая дальше селекционно-племенную работу в животноводстве, послевоенные поколения жовтневцев на небывало высокий уровень подняли сельскохозяйственную культуру, вывели родной колхоз на одно из первых мест в республике.

В канун пятидесятилетия Великого Октября колхоз «Десятиріччя Жовтня» Прилукского района был награжден орденом Ленина. Всей области известны имена замечательных хлеборобов, труженников орденоносного Жовтнева колхоза. И что особенно примечательно: лучшими среди лучших стали в Жовтневом дети основателей колхоза, первых коммунистов села. Продолжили, приумножили трудовую славу погибших отцов-героев.

Дочь Якова Дебеленко — доярка, одной из первых в Прилукском районе Нина Яковлевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Сын Семена Степаненко коммунист Павел Семенович Степаненко уже много лет заведует молочнотоварной фермой, награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. Дочь погибшего фронтовика Романа Еременко Мария заменила отца в солдатском строю. Дошла до Берлина. А потом вернулась в родное село и много сил отдала восстановлению прославленной в довоенные годы племенной фермы. Двумя орденами Ленина и орденом Трудового Красного Зна-



мени наградила Родина эту замечательную труженицу, передовую доярку. Дочь замученного гестаповскими палачами Дениса Панченко Анна Денисовна Довженко стала основательницей областной школы передового опыта повышения удойности коров, признанным мастером рекордных удоев. Вот уже десять лет подряд она надаивает от каждой своей симменталки более чем по 8 тонн молока, а отдельные выращенные и раздоенные ею коровы дают ежегодно по 10—12 тонн молока сверхбазисной жирности. Более двадцати лет Анна Денисовна экспонирует своих симменталок-рекордисток на ВДНХ, она удостоена многих золотых медалей выставки и диплома Почета. Героя Социалистического Труда Анну Денисовну Довженко, или просто Галю, как любовно и сейчас называют в Жовтневом эту добросердечную, скромную труженицу, трудящуюся Прилуцкого района восемь раз избирали депутатом Верховного Совета СССР. Она член Всесоюзного Совета колхозов.

Так живут и трудятся сегодня последователи ефремовского движения. И не случайно колхоз «Десятиріччя Жовтня» за четыре года выполнил производственный план десятой пятилетки. Среднегодовой урожай зерновых с гектара в прошедшем пятилетии составил 46,6 центнера, сахарной свеклы — 470,7, картофеля — 194, овощей — 223 центнера. Опираясь на крепкую кормовую базу, мощную технику, на богатый хозяйственный опыт и новейшие достижения сельскохозяйственной науки, отлично завершили пятилетку и животноводы Жовтнева. На каждую сотню гектаров сельскохозяйственных угодий они среднегодично производили 1480 центне-

ров молока и 249 центнеров мяса. А в прошлом году выработали в стогектарном исчислении молока 1512 центнеров, мяса же — более 253 центнеров.

Обновилось, помолодело село. Улучшилось благосостояние колхозников.

В прошлом году Жовтневое торжественно отметило пятидесятилетие своего колхоза. На юбилейном собрании много добрых слов было сказано о тех, кто поставил село на рельсы коллективизации, о первых фундааторах коллективного хозяйства, а также об алтайских друзьях-хлеборобах, которые примером своим и опытом помогли внедрить передовую ефремовскую технологию, указали ясную перспективу дальнейшего развития земледелия.

О дружбе с алтайцами, о социалистическом соревновании двух районов — Малодевицкого и Белоглазовского — рассказывают новому поколению жовтневцев экспонаты колхозного музея. И часто посетители этого музея спрашивают экскурсовода: «А нынче как дела в Белоглазове? И почему не продолжилось, не разгорелось соцсоревнование хлеборобов Алтая и Черниговщины в послевоенные годы?..»

Как известно, в 1977 году секретариат ЦК КПСС одобрил опыт Черниговской областной парторганизации по повышению плодородия полесской земли. Область вышла на рубеж: 27 центнеров зерновых, 300 центнеров сахарной свеклы и 185 центнеров картофеля с гектара. В повышении урожайности наших полей, конечно же, большую роль сыграло внедрение передового алтайского опыта, вошедшего в историю советского земледелия под наименованием «ефремовское движение».

Георгий КОНДАКОВ

## СОЗДАНИЕ ЗРЕЛОЙ КИСТИ

А. М. ГОРЬКИЙ И ИСТОРИЯ НАПИСАНИЯ РОМАНА  
В. Я. ЗАЗУБРИНА «ГОРЫ»

Владимир Яковлевич Зазубрин (1895—1938), автор первого советского романа «Два мира», на протяжении многих лет дружил с А. М. Горьким, который дал добрую оценку отдельным произведениям сибирского писателя, помогал ему. Особенное внимание А. М. Горький проявил к работе своего младшего товарища по перу над романом «Горы».

Замысел В. Я. Зазубрина показать экономический и культурный рост алтайского народа, строительство социализма на Алтае был вызван самой жизнью, всем общественным и жизненным опытом писателя. А. М. Горький способствовал выбору В. Я. Зазубриным алтайской темы. 3 января 1929 г. он писал: «...не дадите ли Вы для «Наших достижений» статью о Сибири? Разумеется, это «пространство огромное», но Вы возьмите область, округ или район, наиболее знакомый Вам, и расскажите: какие явления положительного характера бесспорны? Интересно и полезно будет, если Вы возьмете себе тему — инородцы, механизация сельского хозяйства, рост коллективных предприятий и т. д. — каждую отдельно, но еще лучше, если — все вместе. Журнал, как Вам известно, рассчитан на внимание и понимание массового читателя».

Таким краем для В. Я. Зазубрина стал Горный Алтай — Горно-Алтайская [тогда Ойротская — Г. К.] автономная область, многочисленные материалы о которой публиковались на страницах журнала «Сибирские огни», редактируемого В. Я. Зазубриным, автором «Двух миров». Он бывал неоднократно в горах Алтая, длительное время дружил с Павлом Васильевичем Кучиняком, алтайским писателем, собирал и переводил произведения устной поэзии алтайцев. Для А. М. Горького тема сибирских народов всегда представлялась интересной и полезной.

20 июля 1929 г. В. Я. Зазубрин в письме к А. М. Горькому уже сообщает о начале своей работы над романом «Горы»: «За приглашение участвовать в сборнике — благодарю. К сожалению, пока ничего нужного дать не могу. Алтайская вещь разрастается, и отрывков из нее давать не хочется... В августе я кончу с

алтайской вещью. Она о хлебозаготовках, о медведях. Вот с нее мне и хочется начать».

Работая над романом «Горы», В. Я. Зазубрин попытался показать рукопись в сибирских редакциях, но ее отклонили. По этому поводу писатель обратился к А. М. Горькому: «При встрече я смогу рассказать Вам много интересного. Заскучал я только в последнее время, когда моя работа над новой книгой (пишу не то роман, не то повесть на 10—12 листов) стала под угрозой срыва. Ведь писать имеет смысл, если есть надежда на напечатание. Мне же из двух сибирских редакций вернули рукопись не читанной. Даже читать не захотели. В конце июня или в июле книга будет закончена. Книга о медведях, о кулаках, о колхозе и т. п. Действие разворачивается на Алтае. Я боюсь, что московские редакции поступят по примеру сибирских. А. М., разрешите после окончания прислать вещь Вам. Если Вы найдете, что книга моя нужна, то м. б., скажете кому следует, что нелепо возвращать рукописи, не читая их».

В ответном письме от 23 мая 1930 г. А. М. Горький писал: «Дорогой друг, рукопись присылайте, — разрешения на сей поступок можно бы и не спрашивать». Но книга была еще не готова, писатель продолжал над ней работать: «Летом я отделаю книгу об Алтае, медведях, кулаках, хлебозаготовках и коллективизации. Осенью убью в сибирской тайге пару, тройку медведей, закопчу их окорока и, разрешив таким образом для себя мясную проблему, перееду под Москву». В письме от 22 июня 1931 г. В. Я. Зазубрин пишет А. М. Горькому о своих неурядицах с переизданием «Двух миров»: «Я буду считать себя счастливым человеком, если книга выйдет еще хоть раз, тогда, значит, я смогу спокойно кончить ту книгу, которую пишу уже второй год».

В. Я. Зазубрин знакомит А. М. Горького с характером своей работы: «После всего того, что мне пришлось пережить в 28-м г., я долго не мог оправиться. Год или более только бродил по Сибири с ружьем и записной книжкой. Охота выле-

чила меня. Я «озверел», окреп и пишу книгу жизнерадостную и полнокровную. Работаю медленно, оттого что строг к себе до беспощадности. На некоторые главы есть более десяти черновиков. Я утратил ту глупую самоуверенность, которая свойственна начинающим литераторам, поэтому писать мне тяжело. Если удастся увидеть Вас в конце лета, то привезу Вам свою книгу...»

В этом же письме В. Я. Зазубрин раскрывает идейный замысел своего романа: «Книгу свою я пишу как итог всем попыткам крестьянства устроить свою жизнь по-своему и как первый шаг рабочего класса к овладению дикой стихией частных собственников. Работы еще много, но прилагаю все усилия к тому, чтобы хоть в основных частях закончить ее к 1 сентября».

В. Я. Зазубрин к этому времени отдельные куски романа читал К. Федину, Н. Никитину, И. Груздеву, которые хвалили новое произведение, но писателю больше всего хотелось увидеть на полях рукописи горьковский внимательный и строгий карандаш.

А. М. Горький пригласил В. Я. Зазубрина участвовать в написании истории гражданской войны, что повлекло за собой некоторые изменения в романе «Горы». Его автор сообщал по этому поводу: «Обилие желающих работать разбудило во мне не очень хорошие чувства, свойственные каждому кустарю-одиночке, производителю мнимых ценностей. Я стал думать — останется ли мне кусок в этом деле? Надо взять такую часть, где бы другому было трудно. Наконец, я решил, что есть такие народности в Сибири, которые принимали участие в гражданской войне, но о них, об их роли в этих событиях мало кто осведомлен, таковы — самоеды, остяки, тунгусы, алтай-кижи, буряты и монголы. Наибольшую активность проявили три последние народности».

В романе «Горы» показаны отдельные эпизоды гражданской войны в Горном Алтае, в частности, знаменитый переход через снежные Яломанские белки и разгром белогвардейской банды во главе с есаулом Кайгородовым, который в романе выведен под фамилией Огородова. Показана и роль алтайцев в борьбе с белобандитами: в произведении изображен Анчи Енмеков — проводник отряда Ивана Безуглово.

В письме от 13 августа 1931 г. В. Я. Зазубрин делится с А. М. Горьким своими творческими замыслами: «Поручите Вы мне эту работу или не поручите — на Алтай я все равно поеду. Мне нужен свежий материал для окончания романа («Горы»). В Монголию тоже буду стараться проехать в 32-м г., т. к. «Горы» есть вторая книга трилогии. Первая на монгольском материале — строительство интернационала, вторая, известная Вам, — строительство колхоза и совхоза, третья — постройка или перестройка семьи, дома».

Итак, В. Я. Зазубрин мечтал написать трилогию. Первая книга трилогии должна была создаваться на основе «монгольского материала», вторая — роман «Горы» — целиком посвящалась Алтаю, третья —

рождению новых социалистических отношений в семье. Написана лишь вторая книга, имеющая самостоятельное значение.

Роман «Горы» известен А. М. Горькому не только по письмам. 16 июля 1931 г. автор читал страницы своего нового произведения на вечере у Горького в Горках, на котором присутствовали писатели Л. Н. Сейфуллина, критик А. К. Воронский, сказавший автору суровые слова: «Роман Ваш никудышный. Герой — чепуха. Я протестую против этой книги от первой до последней строчки. В романе нет ни одной хорошей фразы. Фраза у Вас должна быть неграмотной и неуклюжей, а Вы ее заливали. Жизнь против нас, а Вы ее куда-то тащите. Какая ерунда — пытаться перекрыть звериное начало чем-то там коммунистическим». Оценка же романа «Горы» А. М. Горьким известна по воспоминаниям А. К. Воронского<sup>1</sup> и из письма В. Я. Зазубрина: «Я знаю только, что Вы меня похвалили так, как никто и никогда не хвалил. Я до сего времени как-то не верю, что по моему адресу можно говорить то, что Вы сказали. Уж очень я свыкся с ролью литератора, которого обычно в рецензиях и рекламных объявлениях обозначают двумя буквами «и др.». Вот до приезда к Вам я и был этим «и др.», и вдруг меня ставят на определенное место в алфавите, на принадлежащую мне букву «З», называют полностью мою фамилию».

В. Я. Зазубрин просит А. М. Горького быть «беспощадным» к его новой работе. В письме от 21 августа 1931 г. А. М. Горький отвечал: «По поводу «Гор»: я не мог Вам сказать ничего отчасти потому, что не нашел удобной минуты, и потому еще, что не люблю говорить с автором в присутствии «третьих лиц», особенно не люблю, если эти лица склонны к философии. Хотел написать Вам, — но — до сего дня не мог собраться сделать это».

В письме А. М. Горького важны два момента: во-первых, замечание по поводу устной критики А. К. Воронского, во-вторых, конкретная оценка романа «Горы»: «Если Вы верно передали отзыв Воронского — Воронский возмущает меня. Не ожидал от него столь «эстетической» и в то же время противоречивой оценки. Почему «фраза должна быть неграмотной и неуклюжей»? И что значит: «В романе нет ни одной хорошей фразы»? Такие заявления простительны Юрию Айхенвальду или пьяному. А всего больше возмутили меня слова: «Жизнь против нас, а Вы ее куда-то тащите. Какая ерунда — пытаться пе-

<sup>1</sup>А. К. Воронский писал: «Вечер у Горького. Зазубрин читал свой новый роман «Горы». Слушали: Бабель, Сейфуллина, домашние. Горький хвалил роман; хвалила Сейфуллина. Бабель хитро улыбался, молчал, был любезен. За ужином я сказал Зазубрину, что материал, по-моему, лучше оформления. Непонятно — сволочь. Это клевета, какой-то нехороший нигилизм. Горький покосился на меня». (А. Воронский. Встречи и беседы с Максимом Горьким. «Новый мир», 1966, № 6, с. 222.)

рекрыть звериное начало каким-то коммунистическим». Это уже отчаянно плохо, это пахнет гнилью».

Мнение А. М. Горького по поводу нового романа резко расходится с высказыванием Воронского: «Я не причисляю себя к знатокам литературы, сужу о ней по силе впечатления, вызываемого ею, это «субъективизм», но иначе я не могу. «Горы» — очень сильная вещь, по моему мнению, и я очень рад тому, что Вы написали такую большую книгу. Мне показалось немножко растянутым описание охоты на медведя и слишком густо подчеркнуты слабосилие, неуклюжесть интеллигента. А сцена, когда парень убивает товарищей и, как животное, берет девицу, — несколько смятой. Кое-где язык звучал шероховато, но в общем Вы, по-моему, взяли верный, крепкий тон, и язык соответствует теме. «Горы» определенно нравятся мне».

Не вдаваясь в подробности, А. М. Горький дает высокую оценку произведению и обращает внимание на недостатки, не имеющие принципиального значения. На наш взгляд, сцены охоты на медведя дают возможность автору показать переживания человека, когда он наедине с дикой природой, и ярко изобразить убит и нравы охотников-алтайцев. Сценой бытия Магафором Киприяна и Евлантия автор подчеркивал, что звериные инстинкты медвежьего царства присущи и людям, наделенным темной и жестокой силой. Культ силы и жестокости существует в диком мире животных и в человеческом мире.

А. М. Горький говорит о языке романа, что он «соответствует теме». Действительно, у В. Я. Зазубрина есть свой ритм, своя интонация в построенных фразах. Это присутствие и авторской речи, и диалогам, насыщенный сибирским колоритом. В описаниях природы у В. Я. Зазубрина наблюдается принцип локализации. Природа писателем изображается под углом зрения местного жителя. Через пейзаж раскрывается мирозерцание алтайца: «береза — священное дерево. Она вся белая. На нее никогда не падает огонь молний. Время ее цветения — весна». Романский пейзаж связан с событиями человеческой жизни. Кулак Андрон Агатимович Морев срезает маральи панты, зверски убивает марала-вожака, свою любимую маралуху Тонконожку, льется кровь. Тревожной интонацией окрашены строки, заключающие сцену уничтожения кулачем маралов: «Снежные вершины покрылись красными пятнами заката, точно на них упали огромные капли горячей звериной крови. Лиственница торчала над маральником обломанным мертвым рогом зверя». Этот принцип создания пейзажа В. Я. Зазубрин выдерживает на протяжении всего романа.

В. Я. Зазубрин после читки романа у А. М. Горького, учитывая замечания участников вечера, продолжал работу над книгой. В 1931 г. писатель снова приехал в Горный Алтай, о чем пишет А. М. Горькому из Улалы (**Горно-Алтайска — Г. К.**): «Скажу одно — успехи в деле организации колхозов в условиях отсталых нацобластей —

поразительны. Я страшно рад, что приехал сюда. Моя книга теперь получит полный груз положительного материала».

На Алтае В. Я. Зазубрин в этот год пробыл два месяца, познакомился с алтайскими колхозами и совхозами, с интересными новыми людьми, собрал дополнительный материал для книги. В письме к А. М. Горькому от 20 декабря 1931 г. В. Я. Зазубрин сообщал: «Я сейчас занят отделкой и переработкой известного Вам романа «Горы». По моему календарному плану он должен быть отделан окончательно к 1 мая. Первая часть — 6 печатных листов — готова. Прошу Вас разрешить мне прислать ее Вам на отзыв... Остальные части я был стал досылать по мере их отделки. В последний момент перед отправкой рукописи Зазубрину показалось, что в романе много «беспомощного», «много замызанной литературщины», и он, как сам выразился, стал «снова перерабатывать свой роман»: «Некоторые страницы есть с зачеркиванием. Они сделаны в последний момент. Я заставляю себя заклеить пакет, иначе мне никогда не кончить правку».

А. М. Горький из Сорренто 21 февраля 1932 г. отвечал: «Повесть — хороша, но возвращаю Вам ее для того, чтобы Вы истребили в ней всякие му-му-му и у-у-у. Повесть очень хороша, это не только личная моя оценка, но и многих здесь живущих любителей литературы. Прелестна сцена медведицы и сына ее по пути на пчельник и на пчельнике, но из этой сцены вычеркнута Вами какая-то очень живая и ценная деталь в поведении матери. О переводе рукописи [роман «Горы» — Г. К.] нельзя говорить раньше, чем вся она будет в руках издателя. Посчитайтесь с этим и пришлите рукопись возможно скорее. Я выеду отсюда 20 апреля и должен получить рукопись в марте. Можете?»

В. Я. Зазубрин в письме от 4 марта 1932 г. благодарит А. М. Горького за отзыв, за «указание недостатков», обещает выправить рукопись. Через семь месяцев он сообщает: «Работу над окончанием романа «Горы» начал дней пять тому назад... Как кончу книгу, вручу Вам». А. М. Горький отвечает: «Кусок повести для «Альманаха» [**Год шестнадцатый — Г. К.**] обязательно дайте». Присланный отрывок из романа А. М. Горький оценивает так: «Прочитал отрывок повести, данный Вами для альманаха, и весьма опасаясь, как бы отрывок этот не скомпрометировал повесть, внушив читателю неправильное о ней представление. Представление это может быть внушено страницами диалога между кулаком и коммунистом. Кулак — убедителен, коммунист — почти немотствует. В отрывке этом образ коммуниста — неясен, — и наш читатель может принять его за человека, который готов уступить свои позиции».

В окончательном варианте романа диалог между кулаком Андроном Моревым и коммунистом Иваном Безуглым отличается социально-психологической характеристикой кержака, отточена позиция большевика, который отрицает мелкобуржуазную философию Морева; но тем не менее

горьковское замечание остается в силе. Прав А. М. Горький, когда писал: «У меня такое впечатление: генеалогия кулака — эпическая и замечательна своей чеканной формой, столь же хороша и медвежья свадьба. Но мне кажется, что совершенно необходимо устранить диалог, или же дополнить отрывок, введя в него третье лицо, — солдата-коммуниста. Подумайте над этим. Кроме впечатления моего, весь материал альманаха требует дополнения «положительным» образом, т. е. характером. Читая отрывок, — еще раз почувствовал, что повесть будет хороша. Кончайте ее, а то «залижете», как живописцы зализиывают портреты».

С критикой В. Я. Зазубрин согласился, но, как свидетельствует окончательный вариант «Гор», образы кулака и коммуниста оставил без каких-либо существенных изменений, поэтому «кулак весьма красноречив и философия его слабая для индивидуалистов, как для нищих — гривенник». «Коммунист — не только лаконичен, а как будто нем по природе своей».

В романе есть и другие страницы, которые рисуют коммуниста И. Безуглого недостаточно четко. Например, в споре с управляющим рудника Замбржицким И. Безуглый выбрал позицию не наступления, а глубокой обороны: «Замбржицкому не нравилось спокойствие Безуглого, с которым тот выслушивал все его выпады. Поляка особенно раздражало нежелание коммуниста спорить с ним». Поэтому образ идеологического врага очерчен более ярко и убедительно, чем образ положительного героя.

А. М. Горький познакомился с корректурой романа «Горы» и сделал замечания, порой касающиеся стиля: «Изменение — ничтожное, требуется назвать врага — кулак. Советую также вычеркнуть на 18-й стр. «секретаршу» и «табун коммунистов». Художественная правда от этого не пострадает, а Вам не следует соскальзывать от реализма к золаизму, как это заметно у Вас и на 21-й стр. в словах Помольцева, которые тоже надо бы смягчить. Мудрость и, скажем, целомудрие подлинного искусства дано Вами в изображении медвежьей свадьбы, вот по этой высоте и нужно равняться».

В. Я. Зазубрину не до конца удалось преодолеть натурализм. Например, таковы сцены, как на заднем дворе Серко с «громом извергал помет и мочился» или как Лепестинья Филимоновна «мочилась шумно, на всю ограду и льяными толстыми губами шептала молитву». Все эти натуралистические издержки худшего образца снижали идейно-художественное значение романа.

В романе использован большой фактический материал, связанный с жизнью конкретных людей: крестьянского философа Тимофея Михайловича Бондарева, учителя алтайской коммуны «Майское утро» Адриана Митрофановича Топорова... По поводу части романа, опубликованной в «Новом мире» (1933, № 10), А. М. Горький писал: «Кусок интересный, особенно — рассказ Игонины об Америке. Почему бы

не назвать Бондарева подлинной его фамилией? Бидарев — невнятно и выдуманно, уж лучше Бедарев». Но Зазубрин оставил фамилию героя без изменения.

А. М. Топоров выведен в романе «Горы» в образе учителя Митрофана Ивановича. Писатель удачно использовал в повествовании выдержки из дневника учителя о коммунах на Алтае, наполненные подлинной жизнью и представляющие из себя документ очевидца. В связи с этим Зазубрин писал А. М. Горькому: «Сейчас обращаюсь к Вам опять за помощью... прошу Вас сделать критические замечания».

А. М. Горький отвечал: «Прочитал рукопись внимательно, нахожу, что эти главы написаны очень хорошо, читаются с огромным интересом и наполнены той ценнейшей, тяжелой, зверской правдой, которую должны знать дети об отцах своих, — я разумею детей деревни прежде всего. Есть кое-где недочеты языка, неверные строения фразы, — это легко устранить. Мало дано места изображению образцовой коммуны, и в этом месте повесть переходит в тон очерка».

Изображая алтайский народ, В. Я. Зазубрин показывает новое, рожденное самой социалистической действительностью: «В юрте влез писмоносец-кольцевик Санабас Тукешев. Он едва успел сесть к огню. Люди повисли у него на плечах. Газеты и письма вылетели из сумки белыми птицами, затрепыхались в руках счастливых. Безуглый заметил почтовые штемпеля Москвы и Ленинграда. Дети, братья, сестры писали из школы, с курсов, со службы».

Изменения, происходящие в жизни алтайцев и связанные с социально-экономической и культурной революцией, вызывают восхищение Безуглого: «Гемирбаш развернула «Кызыл Ойрот». В юрте стало тихо. Девушка читала с торжественной медлительностью. Мужчины подкладывали дрова в огонь и даже выходили за ними наружу».

Мужчина может унизиться и взять на себя женскую работу, если женщина так хорошо читает. Безуглый записал у себя в дневнике: «К докладу о национальном возрождении Ойротии. До революции у алтайцев своей письменности не было»<sup>1</sup>. По мнению В. Я. Зазубрина, «алтайцы, угнетенные ранее, нашли выход в великом своем кочевье к социализму».

Автор «Гор» еще ограничивается внешней констатацией факта, не выясняя его психологических причин: «Мотор одного из тракторов заревел. Невысокий, ширококулый тракторист-алтаец сел за руль. Машина пошла по краю распаханного поля. Русский инструктор закричал: «Держи колесо по борозде!» Алтаец ответил, не обертываясь: «Тержу порозта!» В. Я. Зазубрин при индивидуализации речи национальных героев не всегда преодолевал языковой натурализм.

<sup>1</sup> Утверждение неверное: письменность была, и были зачатки письменной литературы. См. сб.: «Очерки по истории алтайской литературы». Горно-Алтайск, 1969, с. 3—20.

В. Я. Зазубрин не дает действующим лицам исчерпывающей социально-психологической характеристики. Писателю не удалось в своем романе показать характеры алтайцев в развитии, в действии: они только заявлены, порой очень интересно, колоритно (Анчи Енмеков, Темирбаш, Аргамай Кудачинов, Мампый и др.), но не раскрыты. Романисту, как говорил А. М. Горький, не удалось преодолеть очерковости, эскизности.

Роман «Горы» публицистичен. Автор зашищал идеи социализма художественным утверждением положительного начала в жизни. Но в произведении встречаются страницы, где художественность оттесняется заурядным газетным языком: «Революция вернула алтайцам землю, отнятые у них белым царем и его слугами. Алтайцы снова стали хозяевами своей страны. Однако большевики, алтайцы и русские, дрались с белогвардейцами, алтайцами и русскими, не для того, чтобы в горах вместо чужих купцов, кулаков и попов появились свои баи и ярлыкчи»<sup>1</sup>.

Писатель, создавая произведение по горячим следам событий, разобрался в социальных явлениях, происходящих в деревне, но не везде сумел передать это художественно, ибо художественный процесс создания образа не укладывается в рамки социологических построений и схем.

К фольклорно-этнографическому материалу, щедро использованному в романе «Горы», А. М. Горький отнесся положительно, считая, что экзотическое способствует созданию алтайского колорита, раскрытию мирозерцания коренных жителей гор. Специфическое, локальное выступает как средство раскрытия национального характера.

В статье «Проза «Сибирских огней» В. Я. Зазубрин говорил о своеобразии развития сибирской литературы: «Здесь налицо взаимодействие культур — русской и туземной. Мы вправе употреблять термин «сибирская» и требовать от писателя в его вещах этого «сибирского». Сам писатель выступал как знаток алтайского фольклора и этнографии. В текст романа введены многие алтайские народные песни, благопожелания, шаманские молитвы, обстоятельно описан автором охотничий ритуал.

Критиками роман «Горы» был встречен противоречиво. Сейфуллина утверждала: «Роман Зазубрина — большая книга». Федосеев считал: «Зазубрин написал сильное, но эстетически крайне консервативное произведение». При обсуждении произведения в Оргкомитете (27 апреля и 4 мая 1934 г.) высказывалось мнение, что «натурализм» Зазубрина «не метод», а отступление от «реализма», но это не может заслонить положительного в романе.

Резко отрицательная оценка роману «Горы» была дана в рецензии Зел. Штейнмана «Тарзан на хлебозаготовках». А. М. Горький написал статью «Литературные забавы», в которой выступил против безответственной критики, «сокрушающей

человеческое достоинство», и говорил о безусловном росте художественного мастерства Зазубрина, чего не заметил рецензент: «Редакторы весьма либерально мирволят глупости рецензентов. Вот пред мною рецензии некоего Зел. Штейнмана на повесть «Горы» Зазубрина, весьма даровитого писателя, усердно и успешно работающего над собой, в чем можно убедиться, сравнив «Горы» с его первым романом «Два мира»... В той же статье А. М. Горький раскрыл суть идейно-художественного воздействия на автора романа устной поэзии алтайцев: «Свойство горного пейзажа весьма ярко и глубоко отразилось в фольклоре всех народов, а особенно на воображении равнинных племен, это свойство возбуждает воображение, возвращает его [Безуглому — Г. К.] в «глубину времен»...

Безуглый находится на охоте, сцены которой переданы В. Я. Зазубриным точно и рельефно. Произошли изменения и в душе героя: он весь преобразился, стал смотреть на окружающую природу глазами первобытного человека: «Тучи, как древние длинноволосые звери на толстых ногах, медленно волокли над горами свои водянистые животы, надвигались на охотников. За камнями, за утесами шевелились тени. Безуглому и облака, и горы казались живыми зверьями. Звери шли на него, ревели, земля трещала под их тяжелыми лапами, осыпалась большими кусками. Безуглый с испугом думал, что он должен будет сейчас вмешаться в дела огромного звериного мира, должен будет останавливать движение и рев стихии».

Отдельные натуралистические сцены произведения, действие которого «развертывается на Алтае, в среде звереподобного сибирского кулачья», А. М. Горький считает идейно оправданными: «Рецензент иронизирует над эмоциями коммуниста Безуглого: «Гольи человек на голой земле», — пишет он для удовольствия «единоличников», мещан, которых, вероятно, до слез ярости тронет сцена истребления кулаками лошадей и маралов, — сцена яркая и возбуждающая то самое отвращение к кулакам, какого они вполне достойны. Грубоватое, но вполне естественное и уместное изображение Зазубриным жизни животных горизонтального и вертикального строения рецензент, видимо, считает недопустимым».

Роман «Горы» В. Я. Зазубрина при жизни автора издавался дважды: в Ленинграде (1934), в Москве (1935). В 1980 г. Восточно-Сибирское книжное издательство (Иркутск) выпустило третье издание в серии «Литературные памятники Сибири». Все это свидетельствует о читательском интересе к произведению.

Точка зрения А. М. Горького на роман В. Я. Зазубрина «Горы», являющийся «созданием уже зрелой и мужественной кисти» (А. Югов), представляет и по сей день яркий пример бережного отношения к творчеству товарища по оружию и, кроме того, дает возможность проследить историю создания романа, оценить достоинства произведения сибирского писателя и вскрыть его художественные просчеты.

<sup>1</sup> Ярлыкчи — проповедник бурханства.

Геннадий ДАВЫДОВ

## ВЕСКОЕ СЛОВО

Своим появлением сын обязан исключительно мне. У жены и тещи были несколько другие планы по этому вопросу, но я сказал свое веское слово: «Пусть будет сын». И не то чтобы во мне заговорила любовь к подрастающему поколению. Скорее любопытство: «Сможет ли моя жена родить так же, как другие?»

Ничего мальчишка родился. Вполне терпимый. Жить с ним можно. Правда, забот прибавилось. Первый год он на меня смотрел, как на клоуна. Для него мать была человеком исключительно серьезным. Все же еда, забота, а я — так, что-то легкомысленное. Ну, рассмешу, в коляске или на руках покачаю. А когда Артем в нашей семье освоился, то понял, что я могу слово веское сказать, и с уважением на меня стал поглядывать.

Год прошел — проблема в ясли устроить. Тещи-то нынче пошли—ого-го! Или замуж выходят, или разными делами общественными заняты — только не внуками. Начал я с женой по инстанциям ходить, место в яслях выбивать. И так и этак пробовали. Я уже жене предложил: «Давай официально разведемся. Может, как матери-одиночке быстрее дадут. Потом зарегистрироваться опять можно». Она мне в ответ: «Чтобы я, незарегистрированная, на тебя рубашки стирала?»

Ну все-таки устроили Артема в ясли.

Отвел его, на работе над чертежом сижу, а сам думаю: как Артем там? Все же в коллектив вошел. Как приняли? Прибежал пораньше забирать, у нянечки спрашиваю. «Хороший, — говорит, — мальчик, шустрый, только больно требовательный. Через час, как привели, начал по столу стучать кулачком: кушать, говорит, давайте. Сбегала на кухню, принесла». Тут я вообще успокоился за Артема. В мою родословную пошел. За себя постоять может.

Закончил ясли, в детсад перешел, а там настала пора в школу поступать. Жена заладила одно: «Устраивай в школу с математическим уклоном». И теща твердит: «У мальчика удивительные способности к математике, почти как у дедушки были. Тот тоже в уме быстро-быстро считать мог». Я сказал опять свое веское слово: «Никаких школ с уклоном. Он — нормальный ребенок, как все. У нас в роду математиков не было. Лобачевского тоже нашли. Подумаешь, мою высшую математику листает, я тоже в студенчестве учебник просматривал». И записал сына в обыкновенную общеобразовательную школу.

Вечером сидим с Артемом, спрашиваю: «В школу идти охота? Волнуешься, поди?»

«А что волноваться, — отвечает. — Надо». И про какие-то преобразования Лоренца спрашивает. Помню смутно: то ли из высшей математики, то ли из теории относительности. «Брось, — говорю, —

голову ломать. За десять лет еще успеешь разные там векторы-спекторы понять. Почитай лучше сказки, они плохому не научат, все хорошие люди в детстве сказки читали».

— Скучно сказки читать, одинаковые они все. Несколько сюжетов из одной сказки в другую переходят. Математики подсчитали: что-то около десяти всего сюжетов.

— Кем же ты стать собираешься, — интересуюсь, — летчиком, поди?

— Хочу заняться вплотную вычислительной математикой, а может, математической логикой. Правда, пока больше волнует энтропия.

— Что, что? — гляжу на него.

— Эн-тро-пия, — повторяет сын. — Допустим, «демон» Максвелла...

Поспешил я его спать уложить. В школе Артем первые дни умничал. Учительница пожаловалась, мол, другим мешает, пробует доказать недоказуемое. Сказал я ему свое веское слово: никаких Пифагоров. Сказки читай, они полезные, плохому не научат. В моей родословной Лобачевских не было, все нормальные люди.

Пять лет его, как вожжами, сдерживал. Меня в его годы с улицы не загонишь, а его от стола не оторвешь. Пришлось даже в секцию бокса отдать. Все-таки вышиб у него эту блажь, нормальным стал, как все в моей родословной. Помучиться, конечно, пришлось, прежде чем из него нормального человека сделал. Зато теперь перед людьми не стыдно, парень как парень. В техникум строительный поступил. По знакомству, правда. Вчера пьяный пришел, с друзьями отмечал что-то. Жена в слезы: «Поговори с мальчиком. В последнее время он что-то нервным стал, грубить начал. Все деньги требует». А что говорить, в компании выпил со всеми. Деньги? Растет и потребности растут. Все же решил поговорить, сказать свое веское слово. А он мне: «Я тебе как скажу такое веское слово — хуком называется, до-олго помнить будешь».

И в кого такой уродился? В моей родословной таких не было...

## БЕЗЗУБЫЕ КОРОВЫ

Дорогая редакция! Стою я на перепутье и потому прошу вашего совета.

Биография моя самая рядовая: сначала родился, потом учился, наконец отбилась от рук, все же умудрился окончить школу и решил продолжать образование. К удивлению всей родни, поступил в университет. Моя матушка это объясняет несколько туманно — сибирским происхождением и природным дарованием. С происхождением все более-менее ясно, а вот дарование... Учеба на журфаке у меня шла без особого блеска, мягко говоря. И я уже было подумывал перековываться в поэты, даже опустил пушкинские баки. С баками все было нормально. Они, по словам некоторых девочек, придавали мне солидность, даже стал говорить иногда басом, а вот со стихами сложнее. По моему мнению, литконсультанты их возвращали, не читая.

Взлетаю я стрижом на третий этаж, вежливо отдышался перед дверью, вошел и доложил: «Я Виктор Полевин. Здравствуйте». Из-за стола корректно кивает, приглашая сесть, носатый мужчина с умными глазами и нецивилизованной бородой.



— Полевин, Полевин... — литконсультант суматошно разгребает рукописи. — Ага, вот нашел!.. Читал. Есть зерно, есть. Но, — он щелкает пальцами, — глубже копать надо, современные проблемы поднимать... Хотя у вас есть хорошие строчки, сильные своей жизненной правдой. Вот, например:

Строим мы не город Солнца,  
Строим — водокачку.

Чувствуется экспрессия. Новизна, смелость образа. Хотя лучше «водокачку» убрать. Вставить что-нибудь более современное. Например... — литконсультант задумчиво дернул себя за нос, от этого нужная мысль не пришла. — В общем, замените сами. А пока... — он протягивает мои странички. — Дерзайте, молодой человек. Заходите, будем рады. — И борода его прощально кивает.

Короче говоря, поэта из меня не получилось. Помешали бородатые критики. Пережил я эту неудачу, окончил университет и появился с направлением в районной газете. Побеседовал со мной редактор, прощупал мой интеллектуальный уровень и сказал: «Иди ты... в сельхозотдел». Заведующий сельхозотделом встретил меня сдержанно, сразу спрашивает: «Корову видел?»

— Где? — теперь уж спрашиваю я.

— В жизни.

За кого он меня принял? Все каникулы на даче проводил, не только коровой, даже стадом не удивишь. Кивнул я головой значительно, мол, о чем разговор.

— Тогда садись в попутную машину и дуй за материалом на ферму колхоза «Богатырь». Порасспроси о кормах, надоях, запиши имена доярок, клички лучших коров... В общем, покажи, чему тебя учили.

Сажусь в попутную машину — и в колхоз «Богатырь». Нашел заведующего. Этаким потертого возраста мужчина с шевелюрой цвета неостывшего железа. Смотрит на меня и ухмыляется:

— Корреспонденту мы всегда рады. Вы пишете — мы читаем. Корма? Что корма? Хватит или нет? — Он задумчиво шевельнул варениковыми губами. — Должно хватить. Что же мы иначе делать-то будем?

— Имена лучших, — подкидываю я следующий вопрос и уже блокнот наготове держу.

— Все лучшие. Плохих не держим, — с достоинством говорит. — Надои? Надои, прямо скажем, не ахти. У коровы, сами знаете, молоко на языке. А коровушки у нас старые, совсем беззубые. — Для убедительности он пригласил меня к ближайшей корове и показал: — Вот... Видите сами: зубов нет. А без зубов какие надои. Приходится им, бедолагам, не разжевывая, проглатывать. Вот с таким стадом и работаем. А заменять нам его не хотят. Так что вся надежда на вас: помогите, покритикуйте, кого надо. Так, мол, и так: в колхозе «Богатырь» коровы рекондиционные...

Приезжаю в редакцию, сажусь за стол. Заголовок тут же: «Беззубое стадо». И сто строк, не вставая, выдал. Показал заведующим. Тот хмыкнул, головой тряхнул и... к редактору. Возвращается с кипой книг. На стол мне кладет и приговаривает: «Учиться, дорогой, будем. Тут учебники по астрономии, животноводству, кое-какие брошюры о передовом опыте... Изучай, юморист. А коровы беззубые по своей конституции. Пластины у них».

Вот я и сижу, дорогая редакция, за этими учебниками и думаю: может, и правда во мне юморист гибнет? В университете преподаватели на экзаменах юмористом обзывали, теперь вот в редакции...

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА «АЛТАЙ» ЗА 1981 ГОД

### ПРОЗА

- ГУЩИН Евгений. Бабье поле. Повесть. Окончание. № 1  
ЕГОРОВ Георгий. Нужны людям. Рассказы о моих друзьях. № 2  
КИРИЛИН Анатолий. Новый дом, старые вещи. Рассказ. № 3  
КОРОСТЕЛЕВ Михаил. Взрыв. Повесть. № 2  
КРИВОНОСОВ Яков. Человек на машине. Повесть. № 3  
КУЗЬМЕНКО Ольга. Один лишь вечер. Счастливый камень. Рассказы. № 3  
КУЛИКОВ Василий. Галя внештатная. Обгон. Ишак играет подъем. Рассказы. № 2  
САПОВ Виктор. Ситный хлеб. Скифский нож. Рассказы. № 4  
ЯШИН Александр. Стечение обстоятельств. Повесть. № 4

### ПОЭЗИЯ

- АДАРОВ Аржан. «Я их скажу, высокие слова...» Думы у Абая. Фантазия. Стихи. № 4  
БЕДЮРОВ Бронтой. Алтайцы. Потомки. Молодые народы. «Мне услышать недавно, друзья, довелось...» Стихи. № 4  
БРАТУНЬ Ростислав. Алтайская быль. Перевод с украинского В. Козодоева. № 2  
ЖИРОВ Геннадий. Край Бобровский. Стихи. № 3  
КАЗАКОВ Владимир. «...И свет дороги полевой». Стихи. № 1  
КАЗАКОВЦЕВА Ольга. Утро. Стихи. № 3  
КОЗЛОВ Константин. Ночная песня. Баллада о девичьем плесе. Стихи. № 4  
КОЗЛОВА Людмила. Из первой книги. Стихи. № 2  
КУЗНЕЦОВ Евгений. Не для славы, а для любви... Стихи. № 3  
КУЗНЕЦОВА Татьяна. Одолевают расстоянья. Стихи. № 1  
ЛАКТИОНОВ Николай. Уснули до рассвета соловьи. Стихи. № 3  
МЕРЗЛИКИН Леонид. От звезды до малой былки. Стихи. № 2  
МОКШИН Михаил. Я прошлого страницы тихо трогаю. Стихи. № 3  
НИКОЛЕНКО Наталья. Предчувствие. Стихи. № 3  
ПАЛКИН Эркемен. Письмо Ленину. Красавица. Обыкновенная жизнь. Стихи. № 4  
ПАНТЮХОВ Игорь. Там, в двух шагах от экватора. Стихи. № 2  
РОДИОНОВ Александр. Портрет реки. Поэма. № 4  
САМЫК Паслей. Разговор с поэтом Леонидом Мартыновым. Стихи. № 4  
ТОЮШЕВ Эзендей. Осень в горах. Стихи. № 4  
УКАЧИН Борис. «Пусть буду снова молод я...» Стихи. № 1  
ШЕВЧЕНКО Виталий. На семи ветрах. Стихи. № 1

- ШИНЖИН Иван. Властители муз. Горное эхо. Стихи. № 4  
ЮДАЛЕВИЧ Марк. Фронтовые письма. Стихи. № 2  
ЯНЕНКО Станислав. Какие ветры пролетели... Стихи. № 3

### ПУБЛИЦИСТИКА, ОЧЕРК

- ВОЛОДИН Геннадий. Рассказы о грибах. № 3  
МАЗУР Л. Наследники Михаила Ефремова. № 4  
МАЛЬЦЕВ Сергей. Человек из песни. № 2  
МОРОЗОВ Вячеслав. Горы. Записки альпиниста. № 4  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Борис. Иван Таратынов — строитель Коксохима. № 1  
РЯБОВА Елена. Истоки. Рассказ о творческой поездке двух барнаульских художников. № 1  
СЕРЕБРЯНЫЙ Виктор. Ношу с собой. № 2  
СЛАЦЕВ А. И. «Покуда жив, буду помнить...» Из записок партийного работника. № 1  
ОСИПОВ Геннадий. И останутся, как в сказке... Документальная повесть. № 3  
ШЕРСТНЕВ Николай. Контрасты предгорной нивы. № 2

### КРИТИКА

- БОРИСОВ Л. Выстраданная память. № 2  
ВИНОГРАДОВА Наталья. Первая ступень. № 1  
ИВАНОВ Дмитрий. Память сердца. № 3  
КАРПОВ Георгий. Сила воплощения. Заметки о творчестве В. Башунова. № 3  
КОНДАКОВ Георгий. Путеводная звезда. № 3. Создание зрелой кисти. № 4  
КУРБАТОВ В. Беспокойная прямота. № 2  
УКАЧИН Борис. Тулаан — месяц Возрождения. № 4

### НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

- САБЛИН. И. Алтайские очерки Федора Панферова. № 2  
ПАНФЕРОВ Федор. Очерки. № 2

### САТИРА И ЮМОР

- НЕЧУНАЕВ Василий. Мармеладная муза. В защиту пареной брюквы. Баллада о пропавшей шубе. Талантайная фига. Кулундинские вопрошания. Пародии. № 1  
ДАВЫДОВ Геннадий. Веское слово. Беззубые коровы. Рассказы. № 4

### ДЛЯ ДЕТЕЙ

- ПИШУТ ДЕТИ. Стихи. № 1  
СВИНЦОВ Владимир. Обыкновенная история обыкновенной кошки. Рассказ. № 3

ое  
ма.  
пе-

бах.

мо-

е 2  
ль-

ты-

ор-  
ху-

е 2

ом-  
бот-

к в

е 3  
гор-

е 2

ень.

3

За-

е 3  
зда.

е 2

рожи-

дора

муза.

да о

фига.  
д и и.

Без-

4

я ис-

ска з.



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

50 коп.

Электронная библиотека АКУНБ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)

На первой странице обложки:  
Имя Ортогулов. «Чабанские тропы».